



Собеседник

Дубровский Давид Израилевич

Ведущий

Пирожкова Софья Владиславовна

Дата записи

Беседа записана 16 мая 2013 и опубликована 17 апреля 2014.

Введение

Первая беседа начинается с воспоминаний философа о детстве, завершившемся с началом Великой Отечественной войны. Бегство от немцев, наступающих на родной город, трудная жизнь в эвакуации, работа на военном заводе, где ему — тринадцатилетнему мальчишке — приходилось вставать на специальную подставку, чтобы дотянуться до станка, побег в действующую армию, арест и обвинения в попытке перейти на сторону немцев, освобождение и участие в боевых действиях — все это, пережитое и увиденное своими глазами, переплетается в рассказах Давида Израилевича с итогами более поздних размышлений о войне. Он делится воспоминаниями о патриотическом подъеме и подвигах, совершаемых в тылу, о стремлении юных мальчишек отправится на фронт, о разных судьбах рядовых солдат и крупных военачальников, размышляет о причинах тяжелейших поражений на первом этапе войны и о том, почему, несмотря ни на что страна сумела не только выстоять, но и одолеть противника.

После войны, закончив за один год в вечерней школе программу восьмого, девятого и десятого классов, Давид Израилевич поступил на философский факультет Киевского государственного университета, после которого несколько лет был учителем логики, психологии, слесарного дела и астрономии в обычной донецкой школе, а затем устроился преподавать философию в Донецкий мединститут. В мединституте ученый сблизился с кругом видных медиков того периода, оказавшихся в Донецке после «дела врачей». Близкое общение с мэтрами медицинской науки

оказало влияние на сферу Давида Израилевича, и в 1962 году он защитил диссертацию «Об аналитико-синтетическом характере отражательной деятельности мозга», по сути написанную на стыке таких дисциплин, как логика, нейропсихология и нейрофизиология.

Софья Владиславовна Пирожкова: Дорогие и уважаемые коллеги и все, кто будут смотреть это интервью. Мы сегодня приветствуем замечательного человека, человека с большой буквы.

Давид Израилевич Дубровский: Ладно, ладно, давайте только без комплиментов и рекламы.

С.П.: И это не комплимент, это констатация факта.

Д.Д.: Не люблю.

С.П.: Ну извините, кое-что, все-таки, надо констатировать.

Д.Д.: Давайте ближе к делу.

С.П.: Да... и интереснейшего ученого, философа Давида Израилевича Дубровского. Давид Израилевич, добрый день.

Д.Д.: Добрый день.

С.П.: Ну вот у нас есть список вопросов по которому мы проходимся в наших беседах. И начинаем мы, что называется, с самого жизненного старта, который даже еще и не ваш старт, а ваши корни. Расскажите об этом.

Детство в Мелитополе

Д.Д.: Ну, родился я в марте 1929 года в городе Орехове, Запорожской области в семье очень простых людей. Отец мой был парикмахером, а мать — домохозяйкой. Отец кончил четыре класса всего. Был человек малообразованный, хотя, в общем-то, более-менее культурный. Мать шесть классов окончила. Она была, кстати, очень способной женщиной, не имевшей возможности продлить свое образование. Нужно было деньги платить тогда, чтобы поступить в училище. Ну вот, там три года я прожил, в Орехове. Потом переехали в Мелитополь. Там я учился в школе. До войны окончил пять классов. В детстве у меня были очень яркие воспоминания, связанные с детской железной дорогой.

” В Мелитополе, маленьком тогда городишке, по каким-то непонятным обстоятельствам, построили детскую железную дорогу. Она была протяженностью в три километра и шла вокруг парка. Это был замечательный способ воспитания детей.

Паровоз, такой маленький, шесть вагонов, они вокруг парка ездили. Масса желающих всегда было покататься. И все делали дети. Машинистами тоже были дети, правда, старшеклассники. Они, конечно, работали под руководством наставника, но тем не менее все от начала до конца делали школьники. Я был в «службе пути», так она называлась. Там были «Служба связи», «Служба движения» и другие. Вот я был в «Службе пути». Вначале я стоял на переезде с желтым флажком — встречал поезд. Потом меня повысили: я стал бригадиром пути — так называлось — три «птички» носил в петлицах. Все как у взрослых. И, через какое-то время стал дорожным мастером. У меня был километр пути, за который я отвечал. Шпалы меняли, проверяли состояние путей. Это было потрясающе интересное и, главное, имевшее огромный воспитательный эффект занятие. Ответственность. Мы работали как взрослые. Вот эта детская железная дорога сыграла в моей жизни и в моем воспитании очень большую роль. А при ней еще были самые разные кружки. «Радистов — операторов» (я закончил кружок этот, изучил азбуку Морзе, умел передавать и принимать простые сообщения), «Юных натуралистов» и многое еще. И все это мы сочетали с учебой. А потом началась война.

С.П.: Давид Израилевич, а вот по поводу папы и мамы. Семья состоялась только из мамы и папы? Или?..

Д.Д.: И бабушки. Бабушка — мать моей матери — была очень интересным человеком. Она рано потеряла мужа и воспитывала двух дочерей своих. Ну, родственники были у нее, конечно. Она хорошо знала самого батьку Махно. Орехов — это рядом с Гуляй-поле, махновской вотчиной. Отец Махно был ее приятелем. Она держала там скобяную лавку. Шила... Сначала шитьем занималась, потом еще у нее была лавка. Когда врывались «махновцы» в Орехов, она их последними словами ругала, защищала соседей. Это была женщина очень строгих нравов. Мы ее побаивались немножко. Она была суровый человек, преданный, конечно, очень семье.

С.П.: А вы были единственным ребенком?

Эвакуация. Работа в колхозе и на заводе

Д.Д.: Нет. Нас было трое. Брат мой был на пять лет младше меня, но буквально перед нашей эвакуацией родилась моя сестра. Мы эвакуировались на лошадах, вот мать, значит, вышла из роддома и села сразу на подводу с новорожденной. А нас воспитывали так, что наша Красная армия немцев разобьет в «пух и прах» в течение недели. Никто не сомневался в этом. Так нас учили, так пелось в песнях. Но потом вдруг невероятные вещи: немцы занимают города, бомбят Запорожье, продвигаются так быстро... В общем встал вопрос об эвакуации. Надо уезжать: уже стало ясно, что немцы возьмут и Запорожье, и Мелитополь. Была дискуссия между родственниками — уезжать или не уезжать. Как уезжать, бросить все? И тех, кто оказались оптимистами, говорили, что немцы культурный народ, их всех расстреляли как евреев. Они все погибли там. Многие мои знакомые и друзья. А мы... Отца мобилизовали в армию, буквально в первые дни войны, но ему повезло, что он был вначале при госпитале, который формировался в Мелитополе. А у него был брат, дядя Гриша, его тоже мобилизовали в армию, но он успел нам всем организовать эвакуацию (он работал в артели «Правда», был пекарем, мастеровым человеком). Вот ему удалось как-то достать подводу. Правда, там было выделено еще пара подвод для семей тех, кто работал в этой артели. У нас на подводе тринадцать человек ехало. То есть мы шли пешком, в основном. Ехала мать, новорожденная сестра Люся, две бабушки (мать отца и мать матери моей), три семьи — дети маленькие. Вот они ехали, а все остальные взрослые и подростки шли пешком. И мы на подводе проехали где-то четыреста километров, до Ростова. Под бомбежку попали один раз. Это ужасно было, конечно. И вообще эвакуация... Огромные толпы людей в зное, в пыли тащатся по дороге. А у нас в отличие от очень многих — подвода. Мы тоже шли пешком, но старухи, маленькие дети сидели на подводе. А правила лошаадьми тетя Слава — это жена брата отца моего, дяди Иосифа, он был глухой после первой мировой войны, тяжело контуженый. Пожилой человек. А тетя Слава была такая бой-баба. Она правила лошаадьми, ухаживала за ними, она «командовала парадом», и без нее было трудно представить все это. Особенно когда под бомбежку попали, она не растерялась, всех нас быстро организовала и вывела из очага удара. Многие погибли там. Ну, короче, это долгая история, она описана в моих воспоминаниях.

С.П.: Сколько вы так шли?

Д.Д.: Ну, сейчас скажу. Наверное, недели три. Причем, самое интересное, что немцы уже перерезали путь нам на Таганрог — десант высадили, но отступавшая армия их сбила, и мы проскочили. Если бы этого не было, мы бы остались в окружении. Ну, я опускаю эти все детали, потому что мы ехали потом на барже по Дону из Ростова, потом еще и поездом и попали в Сталинград. Там на стадионе мы жили дней пять, наверное. Там находились тысячи людей — это был эвакуопункт, люди, эвакуированные из самых разных мест, ожидали своей участи. И нас распределили в Республику немцев Поволжья. Немцев же всех выгнали. Неизвестно, в чем они были виноваты?! Тоже женщины, старики, дети. Их всех выселили. Была большая республика немцев Поволжья: несколько городов — Энгельс, Маркс, множество деревень, несколько райцентров. Вот нас привезли прямо в такую деревню: пустые дома, кирха деревянная, черное воронье, ни живой души. Выбирай любой дом. И, значит, сразу же приехал из райцентра человек: вот будем организовывать колхоз, выбирайте любой дом и завтра на работу уже надо выходить. Мать работала на разных работах. Я работал на конюшне вначале, потом на тракторе прицепщиком. Потом возил бензин за тридцать километров из райцентра Добринка на волах. Интересное было путешествие. Тридцать

километров туда и тридцать обратно. Для комбайнов и тракторов бензин и керосин. Вот такая была телега: два бревна, и между ними лежали бочки — три бочки с керосином и бензином... Там были всякие истории, я их опускаю... Ну, вот, значит, я возил это все. У меня двоюродный брат был, он был двадцать пятого года рождения...

С.П.: Давид Израилевич, а Вам, в начале войны, сколько было лет?

Д.Д.: Двенадцать лет. Это был мой двоюродный брат, сын дяди Гриши, который организовал нам отъезд. И если бы не он, то мы там бы и остались все, и все бы погибли... Его звали Абраша. Он хороший парень был, добрый, безотказный труженик. Все время на конюшне работал, возил километров за пять сено, а это огромный труд набрать и привезти это сено, погрузить, разгрузить... Да... и его взяли в армию. А я хотел на фронт попасть, завидовал ему — все мы были патриоты.

” Среди молодежи особенно был очень высокий патриотизм! Все эти писаки, что сейчас пишут будто «насильно» заставляли, что-то еще такое — это отвратительно! Был истинный патриотизм. Среди молодежи — несомненно. И все мы рвались на фронт, хотели Родину защищать.

И вот Абрашу и всех двадцать пятого года рождения ребят взяли в армию... приехал сержант из райцентра, их всех построили, и я помню, как он помахал мне на прощанье рукой. И они погибли все — Абраша и все остальные.

С.П.: И вы не знаете, куда их отправили?

Д.Д.: Под Сталинградом они были где-то. Это было лето 42-го года. Под Сталинградом шли жесточайшие бои. Там погиб другой мой двоюродный брат. Я об этом писал в воспоминаниях. Он был командиром танка, был дважды орденосец — в 42-м году! И тоже там погиб. Его родители жили в Запорожье. Он работал на военном заводе токарем и имел бронь от армии. И завод этот эвакуировали. Он же в первые дни войны пошел добровольно на фронт, а родители не смогли эвакуироваться с заводом, они остались в Запорожье и были расстреляны. А он был в армии. Был отчаянный парень, еще в Запорожье слыл вожакот отъявленных хулиганов. Правда, работа на заводе его постепенно образумила. Он стал младшим лейтенантом, командиром танка. Был до этого два раза ранен. Награжден орденом «Красной звезды» и орденом «Красного Знамени». В 42-м году, когда награждали редко! И погиб под Сталинградом в начале августа 42-го года. Там были жесточайшие танковые бои. Там полегло очень много. Еще из наших родственников многие погибли, я об этом могу долго говорить, но война унесла почти в каждой семье тех, кто ушел на войну. Трудно найти семью, где кто-то не погиб бы или не был бы ранен, покалечен. Но тем, кто был покалечен, им, считай, повезло. Вот в Мелитополе у нас, на этой детской железной дороге — поразительный пример, я хочу подчеркнуть его! — работали старшеклассники (девятый класс, десятый класс). Это были комсомольцы, замечательные ребята, молодые, веселые, энергичные, способные. Они были старше меня на четыре — пять лет. И они в первые же дни войны добровольно ушли на фронт. Все! Понимаете? Вот говорят, что не было патриотизма, но они все до единого ушли добровольно на фронт! В первые дни войны! И все до единого полегли! Я приехал в Мелитополь после войны, их матери, встречая меня, плакали: «А Лазик погиб!», «А Вова не вернулся!», «А Боря не вернулся!»... Они все до единого полегли на фронте. Не осталось ни одного. Там чуть помоложе их был Вася Васютин, он без ноги вернулся. Единственный из всех молодых ребят того времени, кто вернулся живой. А вот все они из девярых, десятых классов 41-го года полегли, все до единого. Вот это очень яркий пример, который показывает, что такое война и что это был действительный патриотизм. Несмотря ни на что — несмотря на 37-й год и прочее — было понятие «Родины». И было понятие «чести», «достоинства», «долга». Ну, вот об этом можно много говорить, но пока достаточно, наверное.

С.П.: Нет, почему? Давайте продолжим. Я Вам хочу еще один вопрос задать: в начале войны Вам было

двенадцать лет, личность уже сформировалась?..

Д.Д.: Двенадцать лет было... В двенадцать лет я работал на тракторе. У меня был тракторист пьянчужка, пожилой человек. Как поддаст он, так и заляжет в борозду и дрыхнет там. И трактор водил я. А для меня это было вообще удовольствие, радость такая. Там поля очень большие. Держишь, и гон такой длинный—длинный. Потом ты поворачиваешь с этим плугом. Когда поворачиваешь, часто заедало плуг, что-то такое. Потом когда «пыхало-чихало» и мотор глох, я его будил. Он что-то делал, заводил мотор и опять спать. Поэтому я водил трактор большей частью сам. Но скоро меня перевели на другую, более важную работу — возить бензин с нефтебазы за тридцать километров на волах. Очень сложная была работа, мне было двенадцать — тринадцать лет. Все такие, как я, работали с утра до ночи. Это было типично для детей того времени.

Вот дальше я могу рассказать вам самое интересное о войне, о чем много писалось, но все-таки — недостаточно. В сентябре 42-го нас второй раз эвакуировали в город Маркс, Саратовской области. Тоже недалеко от Сталинграда, это тоже бывшая республика немцев Поволжья. Там был военный завод. Он состоял из эвакуированных заводов из Мелитополя, из Харькова и еще нескольких городов. Выпускали минометы и снаряды: один цех снаряды выпускал, второй минометы. Когда мы приехали туда, я сразу пошел работать на завод. Мне было тогда тринадцать лет. В цеху примерно четыреста человек, огромный цех. Мы делали минометы. Ну, это такая довольно простая вещь. Так вот, что самое главное, в цеху этом, ну может быть, процентов пять были кадровые рабочие, остальные — пацаны тринадцать, четырнадцать, пятнадцать лет. До шестнадцати. В семнадцать их брали в армию. И женщины. Они делали минометы. Через три дня, после того как я пришел в цех, меня поставили самостоятельно за станок. Я стал делать «стаканы», детали такие — для механизма наводки миномета. У меня вначале быстро тупились и даже ломались сверла и резцы. А мастер наш, который один был на двадцать человек, понял, что это из-за того, что мне не доставало роста для нормального контроля за своими действиями, когда подводишь резец к быстро вращающейся стальной болванке. Он сделал мне подставку, сантиметров на десять, и пошло дело. Через три — четыре дня я уже наловчился делать эти «стаканы», и норму выполнял, а потом и перевыполнял. Мы создали комсомольскую, молодежную бригаду — норму перевыполняли всегда. Работали двенадцать часов в сутки, без выходных. Получали восемьсот грамм хлеба и обед из какой-то баланды. Я обычно половину хлеба приносил домой, потому что дома были братишка и маленькая сестренка. Но самое интересное следующее. Никто в это не поверит!

В начале 43-го года выходит приказ Наркома танковой промышленности Малышева (это я запомнил точно): перевести завод на выпуск танковых моторов. Но минометы и танковые моторы — это вообще день и ночь, понимаете? Там совсем другие точности, совсем другие методы работы. И срок — месяц. Месяц! Ну, вот кому-нибудь расскажите, кто понимает немного, скажет: да это чушь. Такого не бывает, и быть не может. И вот две недели все не выходили из цеха. Мы там ночевали. Спали по три часа. Вся система менялась: срывали станки, перемещали их, ставили и испытывали новые, другие технологические линии, другая точность работы, все другое. Через двадцать восемь дней на испытательном стенде стоял первый мотор. Вот можете поверить вы в такое?

С.П.: А специалистов при этом не было? Те же самые люди?

Д.Д.: Ну, мастера, конечно, работники техотдела, инженеры. Они, как и мы не выходили из цеха сутками, помогали осваивать новые детали. Точность — микроны, это не минометы. Когда делали минометы, я работал на револьверном станке. Я должен был вставить в шпиндель станка трехметровую железную болванку, просунуть ее в патрон, закрутить и потом обточить примерно сантиметров на десять,

просверлить и отрезать по размеру. Потом дальше уже другие точнее растачивали изнутри «стакан» и резьбу нарезали. Миномет — это труба и плита такая, на которой он стоит, упирается в нее, ножки и механизм наводки. Все довольно просто. А танковый мотор — это поразительно сложная вещь. Из всего периода войны, для меня, пожалуй, остается самым впечатляющим и трудно объяснимым фактом, то, о чем я рассказал — когда завод перешел с выпуска минометов на выпуск танковых моторов в течение месяца. Ну, правда, новые станки привезли, новые линии. Второй цех оборудовали, в другом месте. И третий такой небольшой цех. В одном цехе снаряды делали. Другой был ремонтный цех. И все эти три цеха в одно объединили и через месяц стали выпускать танковые моторы.

Патриотизм и понятие Родины

С.П.: Давид Израилевич, а вообще какое отношение было? «Так надо — значит надо»?

Д.Д.: Мы были комсомольцы. Приказ Родины (и Партии!) был законом. И мы не просто, а по долгу совести, по долгу души своей работали. И тех, кто пытался отлынивать, мы их презирали, мы их ненавидели, считали, что это шкурники, эгоисты, низкие душонки. Это было характерно для комсомольцев того времени. Я очень хотел стать комсомольцем. Я приписал себе лишний год, чтобы вступить в комсомол (28-й год рождения вместо 1929-го), и вот там, под Сталинградом, еще в селе я вступил в комсомол. Это типично. Почему я? Это было характерно для всех. Практически для всех. Ну, для тех, кого я знал, кого видел вокруг себя, для молодых людей того времени. Это был патриотизм, который был характерен вообще для народа. Потому что было понятие Родины. Потом, когда я был на фронте, я видел этих ребят, деревенских ребят 18-летних (особенно в Белоруссии, когда там проходил фронт, их мобилизовали и они поступали к нам в наступавшие войска). Это не то, что какая-то интеллигенция, простые деревенские ребята, но у них было что-то такое в душе, понимаете, что не позволяло им прятаться, скрываться, отлынивать, подставлять кого-то. Они свой долг выполняли, они воевали за Родину.



Вот это понятие Родины был мощным надличностным фактором, который как-то организовывал человека, определял его ценностные ранги. Это факты, которые я лично видел, переживал. Об этом многие пишут, но пишут часто не совсем так.

Были, конечно, и слабые людишки, были всякие шкурники. Недавно вышли ставшие модными воспоминания некоего Маньковского. Я их вчера по совету приятеля прочел. Вот он пишет, что якобы убегали люди, не хотели воевать. Были и такие! Он не хотел воевать! Ему казалось, что все другие тоже не хотят воевать. Он у немцев остался, служил им и прислуживал, описал все свое общение с ними. Типичный предатель из интеллигентов! Потом он с немцами и удирал. Попал позже в Америку, а недавно воспоминания свои написал. Они резко выделяются из ряда других воспоминаний: попытка как-то оправдывать немцев, как-то смягченно все это изображать в выгодном для себя ключе. Особенно тенденциозно описывает он нашу страну и народ наш. Что, якобы, все пытались убежать от советской власти и что не хотели воевать, что все сдавались в плен в первые месяцы войны. Да, сдавались в плен. Первый год войны — это была катастрофа, это было ужасно, но именно потому, что наши героически сражались, немцы Москву не взяли. И немцы не добились нас, хотя и могли. Вот в последующие годы я, лет уже сорок или пятьдесят, изучаю войну, читаю все мемуары, сопоставляю, анализирую, у меня есть карты боевых действий, большая библиотека дома (причем книги не только наших, но и немцев). Вот, скажем, мемуары с одной и с другой стороны, которые описывают одни и те же события. И это позволяет более объективно оценить эти сражения, все эти события. Вот сейчас открыли архивы, вплоть до верховного командования, раньше они были закрыты, а сейчас их открыли. Можно прочесть многие документы, приказы, донесения. Батальон, полк, дивизия, корпус, армия, фронт и Верховное командование — вот туда шли эти донесения. А вот оттуда — там многое еще прикрито до сих пор. Но даже эти архивы позволили за последние пять лет выяснить многие вещи, которые раньше были мало

известны. Да, мы победили немцев, но какой ценой? Цена победы? Грубейшие, преступные ошибки, стоившие десятков и сотен тысяч жертв. Понимаете?

Стратегические ошибки Верховного командования

Поэтому сейчас картина вырисовывается более ясная. Вот так называемое великое Прохоровское сражение, вы слышали? О нем трубили многие годы. Танковое сражение, когда более тысячи танков сошлось с обеих сторон, и мы разбили немцев в пух и прах. А вот сейчас появилось исследование, у меня оно есть, книга в восемьсот страниц (*Замулин В. Прохоровское побоище. Правда о «величайшем танковом сражении»*. М., 2010). Там совсем другая картина получается. Грубейшая была ошибка нашего командования, стоившая огромных потерь. Стратегия и тактика подготовки сражения на Курской дуге у нас была правильная, в принципе. Курская дуга, представляете? Немцы с обеих сторон. Они пытались прорвать фронт, окружить наши армии и таким образом взять реванш за Сталинград, за все. Это лето 43-го года. И Верховное командование правильное приняло решение: выдержать, во что бы то ни стало выдержать атаку немцев, выбить танки и только потом перейти в общее наступление. Для этого были сконцентрированы колоссальные силы в разных участках Курской дуги. И так оно и получилось. Да, действительно, немцы хорошо подготовились. У них уже «Тигры» появились в большом числе, а «Тигры» сильно били наши «Т-34» с дальней дистанции. Это был у них последний шанс взять реванш: 43-й год, Курская дуга... И они действительно прорвали фронт и прошли в одном месте с юга на тридцать пять километров, с севера — километров на десять-пятнадцать, но не прорвали, все-таки, главную армейскую полосу. Она устояла. Там тоже полегло очень много людей, но выдержали натиск. И вот тут, до общего наступления решили вначале сделать такое «частное» наступление под Прохоровкой. Это южный фас дуги. Там наступал танковый корпус СС — три отборные немецкие танковые дивизии: «Дас Райх», «Лейб-штандарт» и «Мертвая голова». Немцы умели воевать. Это надо подчеркнуть. Во многих случаях самоотверженно сражались, проявляли высокую дисциплину и организованность.

Ну, вот командование нашего Воронежского фронта решило: у немцев тут наступает всего один танковый корпус, и подтянули для контрудара две армии. Понятно, что значит корпус и армия? Большая разница. В армии было три корпуса, бывало и еще больше. Подтянули пятую гвардейскую танковую армию и пятую гвардейскую общевойсковую. Две армии против танкового корпуса. Огромное превосходство. Я был недавно в Белгороде, и специально ездил на это Прохоровское поле. Представьте себе: километра три — ровное поле, ограниченное с обеих сторон лесом, балками. А немцы засекли, что русские подтягивают большие силы, у них была хорошая воздушная разведка. Две армии наши подтянули. И немцы сразу приостановили наступление, быстро организовали прочную оборону, танки закопали в землю! А наши — вперед по этому голому полю, без должной организации и разведки. Вперед!

” Это была самоубийственная лобовая атака на хорошо подготовленную оборону противника, где был пристрелян каждый метр земли.

В результате наши танкисты понесли огромные потери, сотни танков (в пять раз больше, чем немецкие танковые дивизии!). Там положили за один день почти половину пятой танковой армии. Немцев не удалось отбросить. Они дошли до самой Прохоровки. Но там их, наконец, удержали. Подтянули еще войска, и они получили свое. Началось наше общее наступление, которое показало всему миру, что фашистская Германия стоит на пороге неминуемого краха. Но сам факт, что Прохоровское сражение долгие годы выдавалось за выдающуюся победу советской армии, говорит о многом. На самом деле, это была грубейшая ошибка, безграмотно организованная контратака, стоившая колоссальных потерь. Вина за это лежит в основном на командующем Воронежским фронтом и на других высоких начальниках, для которых тысячи человеческих жизней ничего не значили. Ну, я извиняюсь, что долго говорю на эту тему.

С.П.: Давид Израилевич, а как Вы думаете, в чем причина таких грубых ошибок? Почему?

Д.Д.: А это очень важный вопрос. Причина этих ошибок в том, что все делают люди. А кто командовал фронтами и армиями? Накануне войны Сталин уничтожил почти 90% высшего руководящего состава Красной армии. В истории все бывало. Но вот такого, когда дамоклов меч войны навис уже над страной (всем было ясно, что война скоро начнется), и в это время уничтожить почти весь опытный руководящий состав армии — такого в истории трудно припомнить. И кого расстреливали? Лучших, наиболее образованных, грамотных в военном отношении и опытных командиров, честных и преданных партии и стране... Вот воспоминания генерала А. В. Горбатова, замечательного военачальника, командовавшего во время войны армией. В 1964 году, в период оттепели хрущевской, вышли его воспоминания. Это, пожалуй, единственные воспоминания, где были представлены не покорёженные цензурой факты, связанные с 37-м, 38-м годами. Его арестовали, он был командиром дивизии. Честный, благородный человек — здоровый, сильный, русский мужик. Из деревни родом, не слишком образованный, но умный, очень способный, замечательный человек. И главное — сильный духом. Его шестнадцать раз пытали, добивались, чтобы он подписал, что он шпион и предатель. Все его сокамерники подписывали после пыток, а некоторые лишь при одних угрозах, и их большей частью расстреливали. А он не подписал. Он рассказал, как его изуверски пытали, как допрашивали. На носилках уносили и сбрасывали в камеру после допросов, потому что он сам уже не ходил. Короче ему дали десять лет, и — в Магадан, и далее — на глухие прииски. Там он чудом не умер. Его спас фельдшер. Он уже опух весь. А жена его все время оббивала пороги высшего начальства, пробилась к Буденному. Буденный хорошо знал Горбатова лично. Ну, в общем, добились того, что его перед самой войной, в марте 41-го года освободили. Тогда освободили десятка полтора крупных начальников оставшихся в живых. В том числе Рокоссовского и Галицкого, во время войны они стали выдающимися военачальниками. Их освободили, а тысячи были расстреляны. И кто же занял их место? Расстреляны Тухачевский, Якир, Уборевич, многие другие, люди в высшей степени образованные, очень опытные, даже прошедшие школу немецкого генерального штаба. А кто остался и занял их место? Ворошилов, Буденный, Щаденко, Кулик, Тимошенко, Павлов, Голиков, Апанасенко и т.п. Все в основном из Первой конной армии. Все с трехклассным образованием. Люди с весьма ограниченным интеллектуальным горизонтом, с отсталыми взглядами на ведение войны. Сталинские кадры, лично преданные. Некоторые сталинские выдвиженцы постепенно научились воевать. Но какой ценой? Об этом тоже можно прочесть у Горбатова и многих других.

Вот яркий пример. Командующим юго-западным фронтом в 41-м году был генерал-полковник Кирпонос, который в 40-м году, за год с небольшим до этого, был полковником. Полковником! Командиром пехотного училища. Вы понимаете разницу? Пехотное училище — тысяча человек, а фронт — многие сотни тысяч, сложнейшая система! Каким образом командующий Юго-Западным фронтом Кирпонос прошел за год с небольшим столько ступеней, стал генерал-майором, генерал-лейтенантом и, наконец, генерал-полковником? Да, преданный, неплохой человек, но «не по Сеньке шапка!» И все они боялись Сталина, как огня. После таких репрессий, это понятно. Какая могла быть инициатива?! А Западным фронтом — самым важным и самым мощным — командовал генерал армии Павлов, который был за два года до этого танковым комбригом (должность полковника) и не имел ни малейшего опыта руководства крупными военными подразделениями. Понимаете разницу? Сталин расстрелял Павлова, списав на него разгром Западного фронта в первый месяц войны. Это была ужасная катастрофа. Там погибли многие десятки тысяч людей и многие сотни тысяч попали в плен. А Юго-Западный фронт пока еще держал оборону. Но немцы воевали грамотно и эффективно, наши у них постепенно многому научились. Ну, вот скажем, Юго-Западный фронт. Немцы концентрируют на флангах большие танковые силы, плюс все остальное. И наносят удар — и сразу прорывают фронт. С севера — танковая группа Гудериана, с юга — Клейста. И быстро идут навстречу друг другу. Положение у нас становится крайне тяжелым, так как фланги нечем защищать. Что делать? В этом случае есть только одно правильное решение — немедленно отступить, занять другую оборону, спасти личный состав, технику и прочее, подготовиться к отпору противнику на выгодном рубеже. Сталин отдает приказ: «Киев не сдавать!». Был такой человек генерал Тупиков, начальник штаба Юго-Западного фронта. Он понимал, что это катастрофа, надо немедленно отвести войска фронта на реку Псел, занять там оборону. И вот он через голову командующего фронтом (а это недопустимые вещи) шлет телеграмму в генштаб. «Считаю необходимым немедленно отдать приказ об отводе фронта на рубеж реки Псел, иначе понятная вам катастрофа дело двух ближайших дней».

В ответ Сталин назвал его паникером и повторил свой приказ. Кирпонос в ответ: «Будет сделано, товарищ Сталин, будем держать оборону». Ну, вот ровно через два дня, немцы замыкают кольцо окружения и, по официальным данным, более шестисот тысяч человек — молодых, здоровых ребят — оказались в мешке, не говоря уже об огромном числе танков, орудий, всевозможной техники. И все они в плен попали или погибли. Погибли и Кирпонос, и Тупиков, и комиссар фронта, и десятки генералов. Огромный фронт! Он был уничтожен. Это была одна из катастроф. Но таких катастроф было несколько в 41-м году. Вот вам пример — кто командовал, кто отвечал за все это. И у немцев были похожие ситуации: Гитлер тоже отдавал подобные приказы. Пример: Сталинград. Но в большинстве случаев при угрозе окружения, немедленно отдавался приказ, армия отходила, выскользнув из окружения, занимала новую оборону. А так что? Коммуникации все перерезаны, через три дня снарядов нет, патронов нет. И что им делать? Они все попадают в окружение и в плен или гибнут. Большею частью наши сражались до последнего и гибли там. Героически сражались. Семнадцатого сентября немцы взяли Киев и еще дней десять добивали окруженных. Можете представить? По официальным данным шестисот тысяч здоровых, молодых мужиков, которых уничтожали и брали в плен.

А следующая катастрофа была, еще более страшной. Буквально через две недели. Началась она тридцатого сентября. Помимо Юго-Западного был Брянский фронт, далее Западный фронт и за ними Резервный фронт — московское направление. Эти три фронта после Смоленского сражения успели укрепиться, подготовить оборону. И вот буквально через пятнадцать дней немцы делают ту же самую ловушку. Концентрируют мощные группировки на севере и на юге (Гудериан уже быстро вернул свои танки из под Киева к Брянску), а на севере сконцентрировалась для удара четвертая танковая группа Гота, плюс многие пехотные, артиллерийские и авиационные соединения. И опять немцы прорвали фронт сразу в нескольких местах. И на этот раз они окружают в первые дни октября сразу три главных фронта, а именно — Западный, Резервный и Брянский. И Москва осталась незащищенной. На сотни километров нет войск никаких. Что делать? Сталин вызывает Жукова (все это хорошо описано), а он был в Ленинграде, командовал Ленинградским фронтом. Жуков смотрит: чем защищать Москву?! А немцы укрепляют кольцо окружения, они могли бы взять Москву, если бы пошли сразу на нее. Но они воюют «по правилам». Им главное уничтожить живую силу. Поэтому они укрепляют кольцо окружения. А представляете, что такое окружение трех фронтов? Это восемь армий, множество всяких частей и подразделений, более миллиона человек. Вот, они укрепляют кольцо окружения, вынуждены задействовать для этого двадцать восемь своих дивизий, в том числе большинство танковых, резко ослабляя этим наступление на Москву. Окруженные войска героически сопротивлялись, стремясь вырваться из кольца. И таким образом Жуков выигрывает неделю, чтобы хоть как-то оборону организовать на самых опасных направлениях. А собранные там незначительные подразделения стояли насмерть (вспомним хотя бы подвиг Подольских курсантов).

Командующий Западным фронтом Конев, командующий Брянским фронтом Ерёменко и, особенно, командующий Резервным фронтом Буденный потеряли управление войсками. А наше Верховное командование не знало чуть ли не целый день, что немцы уже прорвали оборону и окружили все три фронта. Есть воспоминания, весьма интересные на этот счет. Например, у генерала Телегина. Высшим командованием были допущены непростительные ошибки, и за них наступила жестокая расплата. На оборону Москвы подтягивались все новые и новые силы. И это позволило остановить немцев у самых ворот Москвы, а затем и перейти в наступление. Выдающуюся роль в этом сыграли сибирские дивизии. Надо признать, конечно, что не так-то просто было воевать с немцами, с этой вышколенной, вымученной, дисциплинированной армией, с ее опытным, высококвалифицированным командным составом. Наши постепенно научились воевать. Но весьма дорогой ценой. У генерала Горбатова в его воспоминаниях очень много ярких примеров на этот счет. И не только у него.

Сейчас появилось множество статей и книг, возвеличивающих роль Сталина, изображающих его чуть ли не творцом Победы. Тех, кто выражает серьезные сомнения в таких оценках, называют антипатриотами. Вопрос об оценке роли Сталина требует серьезного и многопланового анализа. И здесь трудно обсуждать этот вопрос. Для меня, однако, несомненна его крайне негативная роль во многих событиях, предшествовавших войне, и событиях первых двух лет войны.



Победу одержал народ, ценой невероятных усилий и жертв. В этом проявились его мужество, стойкость и высокий патриотизм. Разумеется, речь идет прежде всего о той лучшей части народа, которая полегла на полях сражений в упорных боях с врагом, о тех миллионах, которые своим умом и талантом, силой духа и воли вопреки всему добивались «малых» побед на своем ответственном участке борьбы — на фронте и в тылу. Из этого выростала Победа.

Неразумно игнорировать и принижать роль Сталина как Верховного главнокомандующего. Но вместе с тем, если в полном масштабе рассмотреть его чудовищные преступления перед народом накануне войны, его грубейшие стратегические ошибки, касающиеся подготовки к войне и первых двух ее лет, то легко представить себе совсем другой сценарий войны и ее результатов.

Чтобы не быть голословным, приведу лишь один пример стратегической ошибки Сталина. 42-й год! Оставим в стороне разгром Крымского фронта, где у нас было почти тройное превосходство над армией Манштейна, а затем окружение и гибель трехсоттысячной армии, наступавшей под «руководством» Тимошенко на Харьков. Ставка решала вопрос, где будет нанесен главный удар немцами в летней кампании. Данные разведки свидетельствовали, что основные танковые и ударные силы немцы концентрируют на юге и что цель Гитлера — прорыв в Закавказье и захват Баку, как главного источника горючего. Сталин же решил, что немцы будут брать Москву. И он держал 70 % армии под Москвой и 30 % на юге. А у немцев наоборот — 70 % на юге и 30 % под Москвой. Когда летом главные немецкие силы ринулись на юг, они разбили нашу слабую оборону, захватили, Донбасс, излучину Дона, Воронеж, дошли до Сталинграда, а в другом направлении взяли Ростов, Краснодар, захватили Кубань, дошли до Кавказских гор и даже прорвались на перевалы, водрузили свой флаг на вершине Эльбруса; еще немного и они бы проникли в Закавказье и могли бы взять Баку. Такова была главная цель Гитлера: захват основного источника нефти. Это, как он считал, означало бы конец войны. И он был недалек от своей цели...

Подвиг генерала И.Е. Петрова

Я извиняюсь, что так долго говорю, но это большая для меня тема. Я много лет изучал все эти события и видел, как часто они подаются в «нужном» свете, причем при участии самих наших главных военных деятелей, стремящихся оправдать или затушевать свои ошибки и неудачи. Особенно часто меня огорчало то, что ряд выдающихся полководцев остаются в тени. Каждый знает Жукова, Конева, Рокоссовского. Да, они, конечно, выдающиеся полководцы, хотя первые два, особенно Жуков, не щадили солдатских жизней. А вот вы слышали о генерале Петрове? Иван Ефимович Петров? Не слышали. А это один из самых выдающихся полководцев и героев Отечественной войны. Он руководил обороной Одессы и держал долгое время окруженную Одессу, когда немцы прошли уже до Киева и бог весть куда. По приказу он вывез морем свою армию за одну ночь из Одессы, со всеми ранеными, всей техникой, повозками, лошадьми, всем имуществом. За одну ночь! Немцы утром проснулись, а противника нет. Он получил приказ вывезти армию в Крым, потому что бессмысленно было держать Одессу, когда немцы уже ворвались в Крым. Без потерь армия высадилась в районе Феодосии. Но связи с командованием нет. Что делать? Немцы уже захватили перевал. Оставался один свободный путь — на Керчь. Но Петров принимает единственно верное решение: сбить немцев с перевала и идти в Севастополь. Ведь Севастополь — база Черноморского флота, имеющая стратегическое значение. И его войска выбивают немцев с перевала (благо, они еще не успели там сильно укрепиться) и входят в Севастополь. А там только один батальон моряков. Больше ничего. То есть, немцы через пару часов взяли бы Севастополь, если бы не генерал Петров. И после этого он 240 дней держал Севастополь против Манштейна, самого талантливого немецкого генерала.

Но дальше опять трагическая история. Наши высадили десант в Крыму, захватили Феодосию, Керчь и там образовали фронт — более сто тысяч человек. Второй фронт в Крыму. То есть в Севастополе — один, а тут еще другой. Манштейн между двух огней и у него почти втрое меньше сил. Командует керченским фронтом генерал Козлов. Человек малограмотный и малоспособный в военном деле, если не сказать сильнее. А комиссаром фронта — Мехлис, человек, как известно, близкий к Сталину. И вот Манштейн, имея в три раза меньшие силы, прорывает фронт, захватывает Керчь, частью уничтожает, а частью сбрасывает разбитые войска в море. Опять огромные неоправданные потери. Все твердили, что положение войск Манштейна между двух огней безнадежное. А вышло все наоборот... Вот ответ на вопрос о том, кто руководит войсками и о причинах многих поражений. После этого Севастополь был обречен. Немцы ввели в Черное море подводные лодки, а в Крым перебазировали мощный воздушный флот — коммуникации с Севастополем были блокированы...

После этого Петрова назначили командующим группой армий, защищавших вход в Закавказье со стороны Черного моря и перевалы у Туапсе, часть которые немцы успели уже захватить. И надо сбить их с перевалов. Осень, понимаете, дождь, непролазная грязь, немцы вверху. Как выбивать их оттуда? Но команды, специально организованные Петровым, сделали это. Потерпев здесь поражение, немцы переметнулись в сторону Каспийского моря, обошли Кавказский хребет, чтобы в Баку прорваться с другой стороны. Главная цель — любой ценой взять Баку. Там есть узкий проход, Эльхотовская долина. Петрова сразу перебросили сюда командовать обороной. Сотни немецких танков штурмовали его позиции. Шли ожесточенные кровопролитные бои за каждый метр земли. Но ничего у немцев не вышло, они отступили. Потом Петров командовал группой армий на Таманском полуострове. Это был талантливый полководец, умевший беречь солдат. Ему приказывали: «Через три дня наступление и взять во что бы то ни стало!..» Он говорит: «Мне нужно две недели, самое меньшее десять дней, чтобы организовать наступление. Без должной подготовки только напрасно положим людей и не решим задачу». «А, ты, значит, приказ не выполняешь!..» И с подачи его начальства в лице Ворошилова и Мехлиса Сталин снимает его. И так несколько раз снимали, понижали в звании, возвращали на меньшую должность, потом снова возвышали. В начале 45-го Петров был Командующим Четвертым Украинским фронтом, задача которого состояла в том, чтобы преодолеть штурмом Карпаты — сложнейшая задача в зимних условиях. Под искусным руководством Петрова, требовавшим высокого мастерства и таланта, она была блестяще выполнена. И тут вместо награды опять донос Сталину со стороны Мехлиса, неизвестно даже по какому поводу. Петрова снимают и назначают на его место Еременко, не имевшего никакого отношения к этому специфическому театру военных действий. Побыв совсем немного не у дел, Генерал армии Петров (Звания Маршала ему так и не дали) становится начальником штаба фронта, которым командовал Конев, фронта, принимавшего участие во взятии Берлина. Иван Ефимович Петров сыграл выдающуюся роль в Отечественной войне, ничуть не меньшую, чем наши прославленные маршалы. Всё! Я заканчиваю эту большую тему.

Побег на фронт и работа в прифронтовой полосе

С.П.: Давид Израилевич, а как война виделась тогда, в ваши двенадцать — пятнадцать лет?

Д.Д.: Ну как она виделась? Вначале она виделась так — мы стояли за станками по двенадцать часов. Все для фронта, все для победы! Лозунг был такой. Старались сделать все, что можно, что от тебя зависит. А потом я удрал на фронт. Ситуация сложилась такая в моей биографии, но я об этом говорить не буду, потому, что об этом написано в моих воспоминаниях. «Дорога на фронт» — как по военной России два пацана пытались пробраться на передовую.

С.П.: А как появилась вообще у вас эта мысль — что надо?

Д.Д.: Потому, что мы должны воевать за родину. Мы должны успеть повоевать за родину. Это был 43-й год уже. Пацанов тогда уже никто не брал в армию, тем более на фронт. То, что мне это удалось, редкая случайность. Вначале я попал на санлетучку, вывозившую раненых в тыл из фронтовой полосы.

С.П.: А с кем это вы отправились?

Д.Д.: Ну был у меня такой дружок Шурка Земченков, потом, правда, мы с ним расстались. Он себя вел не по-товарищески. Много раз такое было. К тому же я удрал с завода, а он официально уволился с завода, ему помог родственник. А удрать с завода — это считалось дезертирством. За это судили. Я не мог возвратиться. А он мог. Мы с ним не дошли до фронта всего лишь километр, наверное. Нас там арестовали. Сидели мы вначале в армейской тюрьме, вместе с дезертирами и уголовниками. Потом нас отконвоировали в город Кричев, передали в КГБ, которое занималось гражданскими лицами. Там я сидел две недели в тюрьме, в КПЗ (камере предварительного заключения). Самые страшные дни в моей жизни.

”

Меня обвиняли в том, что я хотел перейти линию фронта. К немцам якобы хотел перейти Давид Израилевич Дубровский, так сказать с комсомольским еврейским приветом, замызганный юнец, одна кожа и кости. Это дикая глупость! «Кто послал тебя? Зачем хотел перейти линию фронта?». Поймали ведь нас почти у самой линии фронта, говорить, что ты хотел воевать — никто из милиционеров и кэзэбистов тебе не поверит. Мы это поняли постепенно.

С.П.: А вы им пытались говорить?

Д.Д.: Вначале, на первых этапах пути да, а потом поняли, что это напрасно. У нас была такая версия, мы заранее решили говорить, что идем к Шуркиной тете, которая живет... Мы узнали, какая деревня стоит на линии фронта в нашем направлении — это была деревня Орлеи. Тетя живет в деревне Орлеи, и мы идем к ней. Вот такая была версия. Но Шурке следователь пару раз дал по морде, и он «раскололся». Мы сидели в разных камерах. Меня с самого начала допрашивали крайне грубо. А тут начали бить «Куда шел?» — «К тете, в деревню Орлеи» — «Ах ты...», — и как даст в морду. И так раз за разом. Но я потом не выдержал. Обложил его матом и пепельницей защищался. Дуболом такой, старший лейтенант. Лицо такое красное, свиное. Он меня избил так, что двум охранникам, взяв меня за руки и за ноги, пришлось оттащить и бросить в камеру. Камера — одиночка. Каменные нары. Небольшое продолговатое окошко, решетки открытые. Прямо на нары наматывает снег. «Параша», я извиняюсь, стоит. Вот что значит камера одиночка. В КГБ это было. Каждую ночь на допрос. Но потом, в итоге, разобрался один майор. Нам приписывали, что мы хотели перейти к немцам, глупость какая-то. Он меня вызвал и говорит: «Ну, давай теперь без дураков. Куда ты шел? Зачем? Честно мне говори». Я говорю: «Да, мы так на фронт хотели попасть». И он поверил мне. «Ну, ты ж дурак, — говорит он, — ты же не знаешь, что такое фронт, тебя, как муху, убьют. И кому ты там нужен? Ну какой из тебя солдат в четырнадцать лет? Иди, работай, еще успеешь повоевать!». И он нас освободил. И меня, и Шурку. Он написал нам записку в столовую, нас накормили обедом, и направил на работу — слесарями на станцию Кричев, в депо. Пошли мы искать депо, до станции далеко. Подошли, а там нет ни станции, ни депо, одни камушки. Переночевали мы в землянке, набитой рабочим людом. А назавтра Шурка незаметно удрал. Ну, я увидел, что он ушел на станцию — там поезд шел один раз в день из Кричева в Рославль. Он не рад был встрече со мной, обозлился. Я дал ему по морде, и он уехал. Я остался один. Работал — камушки собирал, складывал. Не слесарем работал, а вот так, депо было полностью разрушено. Рядом с ним деревня была. Там я не без труда устроился на ночлег, все хаты переполнены солдатами. В нашем дворе я познакомился с лейтенантом. Он был командиром взвода связи. И вот я стал просить его, чтобы он взял меня в свою часть или как-то помог попасть в армию. Лейтенант был москвич, добрый интеллигентный парень, папиросами меня угощал. Он говорит: «Что ты? Я не имею права, сейчас это невозможно!». Я его просил несколько раз. Он задумался. Оказывается мать его была майором медицинской службы, начальником санлечучки, которая курсировала от станции Веремейки до Рославля и проезжала через Кричев. Станция Веремейки стояла у самой линии фронта, там ночью грузили всех раненых и отвозили их в госпиталь. И однажды лейтенант сказал: «Дай, я с матерью поговорю, может она поможет». Надо только не прозевать

санлетучку, она не всегда останавливается в Кричеве. И вот однажды я узнал, что санлетучка останавливалась в Кричеве. Удалось ли лейтенанту поговорить с матерью? Целый день я сторожил лейтенанта. Ему удалось. И мать сказала, чтобы он меня привел.

” На следующий день я, замызганный и оборванный, с испугом вошел позади лейтенанта в сияющий белизной вагон, мать сидела за столом в накрахмаленном халате — очень красивая женщина лет сорока, рядом с ней молодцеватый старшина (как я узнал чуть позже, звали его Федя Прокопишин). Она, как мне казалось, долго молча смотрела на меня. «Возьмите меня, — попросил я, — буду делать все, что вы прикажете».

Плохо помню, что она спрашивала, но это длилось недолго. Потом она сказала: «Федя, проводи его в баню, только осторожно, а это все (указав на мою одежду) выбрось аккуратно подальше из вагона».

Меня отмыли в бане, дали все чистое, постригли наголо. Но еще долго вши появлялись неизвестно откуда, и я постоянно вел на них охоту, выворачивая нижнюю рубашку и кальсоны и все свое солдатское обмундирование. Загадка. Я быстро освоился на санлетучке, благодаря Феде Прокопишину — добрый и веселый был человек.

С.П.: А что вы там делали?

Д.Д.: Все делал: переносил раненых, помогал Феде, был у него на подхвате — беги туда — беги сюда, топил печи, ухаживал за ранеными и даже выпускал стенгазету. Но все это длилось недолго, около двух месяцев. Потом вдруг начальница ходит хмурая, ждут важную комиссию. Проверка какая-то неприятная. Санлетучка — отдельная часть армейского подчинения. Начальство далеко. Был такой ПЭП-57 (полевой эвакуопункт 57), куда входили все эти санитарные структуры армии. Ожидая комиссию, начальство решило, что не может больше меня держать на санлетучке — нарушение. Выписали красноармейскую книжку, а вместо 29-го, 27-й год рождения поставили (я просил об этом Федю). И направили меня в другое подразделение того же ПЭП-57, в банно-прачечный отряд, командиром которого был брат Феде капитан Прокопишин. Там, в тыловых частях у них всех были хорошие связи. Меня определили в сапожную мастерскую под начало сержанта Потапа Ивановича Ашихмина. Нас было человек десять, сидевших за общим верстаком. Среди них пару пожилых солдат, хороших специалистов, работавших на начальство, как и сам Потап Иванович Ашихмин — человек крутого нрава. Мы чинили обувь из госпиталей, привозимую в больших мешках. Прибывали подметки, каблуки, набойки, зашивали дыры — ботинки и сапоги были чаще всего сильно изношенные. Нередко подъезжали ближе к передовой, устраивали баню и прожарку обмундирования. Каждую ночь я стоял по два часа с винтовкой на посту. Пару раз нас бомбили. Но все это было далеко от настоящего фронта. Я думал, как бы попасть туда, но ничего не получалось. Но все-таки случай выдался, и мне удалось улизнуть на передовую.

Боевое крещение

Это было уже в июне месяце, 44-го года. Я упросил старшину взять на прожарку, буду, мол, помогать и, может, обувь кому-то починю. Взял с собой все сапожные причиндалы. Наша команда расположилась ночью совсем недалеко от передовой. Пока солдаты мылись в бане, я починил пар шесть-семь обуви. Подбил подметки на сапоги и младшему лейтенанту. Он обрадовался. И я говорю: «Товарищ лейтенант, возьмите меня с собой. Хоть на денек, хоть ненадолго. Я всем вашим солдатам починю сапоги, смотрите у многих они „просят каши“ (то есть на носках подметки отвисают), так же нельзя». Он улыбнулся: «А что? И правда. Айда с нами!». Младший лейтенант молоденький, лет восемнадцать — девятнадцать, веселый паренек. И я втихую ушел с ним на передовую. Ну, а там старшина роты сразу посадил в своем блиндаже

за работу.

” Я старался изо всех сил. Старшине починил сапоги, командиру роты, тому, сему, кто просил, многим солдатам. Не спал ночь и днем продолжал работать. А комбат был в госпитале. И вот он вышел на следующий день из госпиталя, и мне сразу приносят его хромовые сапоги и пару новых кожаных подметок. Я очень аккуратно набил подметки, поработал рашпилем, поправил каблуки, надраил все, сапоги как новые. Комбату, говорят, понравилось.

С комвзвода Димой, который привел меня, мы подружились. Старшина роты мне все подбрасывал и подбрасывал работу. Ну и командир роты проникся ко мне добрыми чувствами, относился уже как к своему, угощал своей настойкой на травах. Пробыл я уже три дня. На передовой спокойно, стоят жаркие дни, солдаты загорают в траншеях. И тут меня комроты вызывает и говорит: «Ну все, пора тебе обратно, а то нам так шею намылят, будь здоров. Брали на один день, еще бумагу накатают на комбата». Я начал просить: «Ну оставьте меня еще, я...» — «Нет, брат. Сегодня еще побудешь, а завтра...». Но тут мне нежданно-негаданно опять повезло. Ночью вдруг все изменилось. Какое-то начальство по траншее шагает, полковник, подполковник, за ними вереница младшего начальства. Все напряглось: завтра с утра разведка боем. И вот теперь им уже не до меня. Разведка боем проводится обычно перед большим наступлением. Она чревата большими потерями и успех ее зачастую сомнителен. И вот на следующий день, утром, батальон изготовился к атаке. Проходя по траншее мимо меня, комроты бросил: «Сидеть и не высовываться! Слушай старшину». Минут пятнадцать поработала наша артиллерия. И вперед! Я все видел: как дружно бежали солдаты, как падали они один за другим, как рота с ходу захватила первую немецкую траншею и ринулась ко второй. Пробежали метров тридцать и залегли под сильнейшим огнем, стали отползать назад, многие так и остались лежать. Наша артиллерия открыла огонь, чтобы дать возможность отойти и утащить раненых («заградительный огонь» называется). Там полегло довольно много. И тут старшина говорит своим четверым помощникам: «А ну, давай боеприпас!».

А уже были приготовлены ящики с патронами и с гранатами. Они обвязаны специально веревкой с петлей, чтобы ползком их можно было тащить. Такая петля — одеваешь на шею и через плечо. Можно сдвинуть петлю выше, ниже, чтобы удобнее, и тащи ящик ползком, поправляй рукой. Солдатская придумка. Все взяли по два ящика, подняли наверх. Старшина указал мне на один ящик: «Ползи за нами. И голову не задирай!».

С.П.: Он тяжелый был?

Д.Д.: Тяжелый, килограммов десять — пятнадцать. И вот я вслед за ними ползу еле-еле. У меня ведь опыта нет такого ползания, нужно приспособиться и голову не поднимать.

” Ну, в общем, я до середины дополз, старшина и солдаты далековато уже, смотрю: один убитый, второй убитый, третий... и прямо на моем пути молодой парнишка, лежит, кровь изо рта, смотрит глазами, молящими о помощи. Я остановился, что делать, растерялся, сердце сжалось от страха и жалости, стал снимать лямку. И тут слышу старшина орет: «Вперед, твою мать!».

А немцы увидели, что ползут солдаты и открыли минометный огонь. Мины рвутся кругом. А это самое страшное дело. Больше всего на фронте я не любил мины. Потому что осколки от них как бы пашут землю, не спрячешься. Если близко разорвалось, то убьет, наверняка. Ну, я пополз дальше. Вижу, одного из солдат старшины убило, а недалеко второго. Старшина кричит: «Бери второй ящик!». Я набросил

на плечи вторую петлю и не могу сдвинуться. Но сразу сообразил: надо по очереди, подтащил немного один, потом другой. Ползу изо всех сил. Мешают куски колючей проволоки на пути. Уже вроде до немецкой траншеи, где наши сидят, метров остается пятьдесят, семьдесят. А старшина еще с одним уже доползли до траншеи и скрылись.

С.П.: Сколько там расстояние было?

Д.Д.: Ну, метров двести пятьдесят, может чуть больше. Старшина выскочил из траншеи и навстречу мне быстро ползет— помогать. Забрал оба ящика. Еще минута, и мы свалились с ним в траншею. Не успели отдышаться, как старшина сказал: «Ну сейчас фриц даст жару!» И действительно, почти сразу такое началось! Артиллерийский налет. Для меня это все было впервые. Я вжался в низ стены окопа. Это ужасно, конечно, когда рядом рвутся десятки снарядов. Один разорвался метрах в двух-трех, и на нас завалилась стена окопа. Пока мы выползали из-под груды земли, обстрел прекратился и немцы пошли в атаку. Старшина дал мне автомат одного убитого. У немцев все просто — если отступил без приказа, то взять обязательно позицию обратно, таков закон. Это первое боевое крещение запомнилось мне хорошо. Ну, я стрелял, стрелял вместе со всеми, даже пытался целиться. Потом, когда мы отбили эту атаку, старшина говорит: «Что-то палец-то у тебя сильно прилипчив. Ты коротко, коротко».

С.П.: Береги патроны.

Д.Д.: Да. «Зря расходуешь боеприпас!» А тот второй пожилой солдат, оставшийся в живых (но его тоже убило потом), говорит: «Ну, в штаны не наложил — и то хорошо! Не нюхал пороху».

Три месяца на передовой

С.П.: Давид Израилевич, а стрелять-то где учились?

Д.Д.: Как где учился? На фронте. Что такого трудного? Когда-то в тире стрелял, где-то еще, не помню. На фронте быстро научишься. Постепенно научился хорошо стрелять, хоть из винтовки, автомата или пистолета. Вот такое у меня было боевое крещение. А назавтра началось большое наступление — знаменитая операция «Багратион». С батальоном я пошел дальше. Меня ранило в ногу, после госпиталя попал в противотанковую батарею сорокапятков, должность —заряжающий-подносчик снарядов, был там всего одиннадцать дней, участвовал в одном бою. Ну вот, о войне хватит. И так много времени потрачено.

С.П.: Нет, давайте Ваш путь, все-таки, до конца нам расскажите.

Д.Д.: Ну он обычный. У солдата было два пути. Как тогда говорили: или наркомздрав или наркомзем (для молодежи поясняю: в СССР вместо министерств были Наркоматы (Народные комиссариаты) — Наркомат здравоохранения, Наркомат земледелия; сокращенно Наркомздрав, Наркомзем). Отсюда и солдатская присказка, означавшая: или убьют тебя, или в госпиталь. Бывало и всякое другое — на отдыхе, переформировании, в запасном полку, в ближнем тылу и тому подобное. Но если исключить все это, то на передовой я пробыл месяца три. Даже может быть немного дольше. Довольно большой срок, чтобы остаться живым. Это была хорошая школа для меня. Я горжусь, что выдержал все эти испытания. Потому что бывали случаи, когда я терял веру в себя. Ну, вот эти переходы по тридцать километров с автоматом и всем снаряжением по белорусским песчаным дорогам. Идешь и думаешь — все, сейчас упаду. Нет сил больше. Но как вот так упасть — это же позор. Позор для солдата! Ну, еще шаг, еще. Все! Сил не осталось, сознание мутится. Сейчас упаду. Но я представляю себя упавшим — строй сбивается, комвзвода смотрит: что такое? Ко мне наклоняются... И что скажут солдаты? «Откуда взялся этот хлюпик?» Позор! Я делаю еще шаг, и еще шаг, и еще. И на каком-то шаге вдруг становится терпимо, а потом идешь и вроде ничего, почти нормально. Второе дыхание. А бывало, что доходило до третьего и четвертого дыхания, особенно, когда после такого марша надо рыть и рыть окопы. Я уже хорошо знал, что нужно держаться, терпеть, напрягаться, что наступит второе дыхание, что я обязательно выдержу. Я много потом думал об этом. Может быть, мои научные интересы берут свои корни именно в этом опыте: у человека, оказывается, есть какие-то глубинные ресурсы, о которых он не знает и в которые он не верит, но которые открываются

вдруг в какой-то экстремальной ситуации. И у меня есть такой опыт, хотя я, вобщем-то, сравнительно недолго был на фронте, и это был фронт уже совсем не тот, который был в 41-ом, 42-ом и даже в 43-м. Это был победный 44-й. Мы все время наступали! А это совсем другая война! Но, конечно, пришлось все же немало повидать всякого и испытать на себе.

Даже в болоте пришлось полежать в марте месяце. Мы обходили укрепленный пункт по болоту, впереди лесок метрах в трехстах. А немцы поставили пулемет в лесу и когда мы были примерно на середине болота, открыли огонь. Одного убили, другого ранили. Все нырнули в воду. Я подполз и лег на кочку, которая просела подо мной, одна каска на поверхности; ну и травка слегка прикрывает. Стрелять из автомата по немцам с такого расстояния и положения — мало толку. А он тебя, если засечет, уложит наверняка. Вот на такой кочке — все тело в воде — я пролежал вместе со всей ротой, наверное, более двух часов, пока не стемнело. Рота наша была сильно потрепанная — человек двадцать пять — тридцать осталось, все на виду. Так вот никто в роте не заболел! Два-три дня я их всех видел, ну кто оставался в живых и не был ранен. Никто не попал в медсанбат... Когда стемнело, немцы ушли, и мы такой марш дали по болоту, что от нас пар шел. А потом, когда мы обошли этот укрепленный пункт, зашли с тыла и хотели с немцами как следует поквитаться, оказалось, что они сами ушли — пустые блиндажи. Ну выпили, конечно, мы хорошо, обсушились, поспали в этих блиндажах. И никто не заболел. Интересно, да? Вот, подумайте. Какие ресурсы есть в каждом из нас и как они открываются в экстремальной ситуации. У солдата есть такое понятие НЗ (неприкосновенный запас). Что-то подобное есть в нашем организме. Часто мы об этом не знаем, а если знаем или догадываемся, то не можем откупорить эти скрытые ресурсы. Факты такого рода, несомненно, сыграли важную роль в том, что я всю свою научную жизнь занимаюсь психофизиологической, психосоматической проблемой и смежными вопросами.

С.П.: Давид Израилевич, а ранены вы были тоже в 44-м?

Д.Д.: В 44-м, но я был, к сожалению, легко ранен, один раз.

С.П.: К сожалению?!

Д.Д.: Это оговорка. Я хотел сказать, что у меня было еще одно пустяковое ранение, которое могло стоить мне жизни. Маленький осколок мины величиной со спичечную головку попал мне в шею сбоку и проник сантиметра на полтора — два. Я даже не был в госпитале, мне его удалили в медсанбате. Военврач, удалявший его, сказал: «Смотри-ка, ну ты и везучий! Еще бы на миллиметр дальше и пробило бы... и все».

С.П.: Артерию.

Д.Д.: Да. Первое же ранение в ногу было сравнительно легким, так как кость не была задета. Через неделю я прыгал уже на костылях и через три недели был уже почти полностью здоров. Но я был еще один раз тяжело контужен и измочален весь множеством осколков, но ни одного серьезного ранения не было — одни царапины, порезы, ушибы. Я был тогда в противотанковой артиллерии, участвовал в одном бою, в котором, скорее всего, все полегли, так как все четыре орудия наши были уничтожены, немецкие танки прошли через наши позиции, в медсанбате же я никого из наших не встретил. Я долго лежал без сознания, пока меня не подобрали, и после этого оно у меня не раз отключалось. И у меня был сильный ушиб позвоночника. Вскоре после войны я заболел туберкулезом легких и туберкулезом позвоночника, причем процесс в нем возник в месте ушиба. На удивление многих я выкарабкался из этой болезни. У меня даже сохранились все справки из больниц.

С.П.: Значит, сначала вы были в пехоте?

Д.Д.: Да. Потом был одиннадцать дней в артиллерии, потом снова в пехоте, потом после войны в разных частях (их называли «сборной солянкой»). Предстояла война с Японией, срочно шли разные переформирования, готовились войска для отправки на ДВК (как тогда говорили). Я попал в какую-то часть с хозяйственным уклоном, в которую собирали солдат старшего возраста, негодных к строевой службе или имеющих три ранения, то есть тех, кого готовили к демобилизации или не планировали отправлять на ДВК («Дальний восток»). Потом попал в такую же часть, потом меня еще несколько раз переводили из одной команды в другую и, наконец, в очередную «сборную солянку», которая

размещалась в районе Мазурских озер (Восточная Пруссия). Здесь у нас недели две была вольготная жизнь. Правда, там я чудом не погиб.

” Мы глушили рыбу, и мой сосед нагло запихивал запал в проржавевшее отверстие гранаты. И она разорвалась в его руках. Ему оторвало руки и всего изранило, стоявшего справа убило наповал, а мне, слева, — ничего, кроме легкой контузии. Подобных счастливых удивительных случаев после войны у меня было несколько.

На последнем этапе перед демобилизацией меня перевели в какую-то санитарную команду с хозяйственным уклоном, мы сортировали и паковали обмундирование БУ (то есть бывшее в употреблении). Но это было уже в городе Гродно, где я снова встретился с родным армейским полевым эвакупунктом № 57. Собственно, наша команда принадлежала к какой-то структуре, находившейся в его ведении. Отсюда из Гродно меня демобилизовали, поскольку за мной числилось ранение, контузия и это легкое ранение в шею, которое оказалось записанным в моих документах. А был приказ демобилизовать тех солдат, у которых три ранения. Домой я, как и многие мои попутчики, добирался большей частью на крыше вагона.

С.П.: Какое было ощущение, когда война закончилась?

Д.Д.: Конечно радость необыкновенная. Когда услышали, солдаты начали палить из всех стволов, пили водку, обнимались. Еще бы! Живые остались. Мы все понимали, что каждому из нас очень крупно повезло, потому что война — это мясорубка, бессмысленная на уровне личной судьбы. Абсолютно неизвестно — кого убьет, кого покалечит, а кого пощадит. Это большая тайна, загадка бытия. Когда меня о войне спрашивают, я привожу один пример (он у меня описан тоже в моих воспоминаниях). Это было поздней осенью 44-го года, мы уже стояли на границе с Восточной Пруссией. Слякоть такая промозглая. Я помню, мы были одеты вроде бы тепло — телогрейка была и такие штаны теплые. Я спал в траншее с автоматом, прислонившись к стене, а у нас такой чуткий слух, у солдата. Когда привычная стрельба, взрывы дальние, это спать не мешает, а вот когда другие какие-то слабые звуки, даже шорохи — сразу просыпаешься. Это было время рассвета, когда близко уже все видно, а дальше — темно. И вдруг — «Туп!». Кто-то спрыгнул возле меня в окоп. Я, лежа, не двигаясь, смотрю: высокий парень, красивый, в новенькой офицерской форме и фуражке. И в тот же момент на бруствере разрывается мина (открыв глаза, я уже слышал, как она летит и примерно куда). И этому парню снесло полголовы и он повалился прямо на меня, заляпав меня кровавыми мозгами. Вот, называется, повоевал. Спрыгнул в окоп и сразу убит. А это был, оказывается, вновь присланный командир взвода. Ему было лет девятнадцать, не больше. Окончил десять классов и шестимесячное военное училище. Получил одну звездочку (младший лейтенант) и командуй взводом. Добрался до своего спящего взвода (его сопровождал, по-моему, какой-то солдат, не помню, остался ли он жив). Наверное, рад был, что после дальней дороги добрался. Спрыгнул в окоп и мгновенно убит. Такой вот образ войны и удачи. Другой воюет и ему хоть бы что, даже не ранен. Я знал одного такого, который прошел всю войну, выходил из окружения дважды, бывал в смертельных переплетах. И вернулся домой живым и невредимым. А этот парень... Его образ до сих пор у меня перед глазами.

С.П.: Сделал первый шаг.

Д.Д.: Что?

С.П.: Только первый шаг сделал.

Д.Д.: Да. Поэтому, эта проблема бессмысленна в том отношении, что как бы нет никакого обоснования для прогноза, хотя вероятность погибнуть на войне гораздо выше, конечно, чем остаться живым (тем более в зависимости от времени пребывания). Крайне трудно рассуждать на тему личной судьбы на войне. Впрочем, и без войны эта тема не становится легче. Тем не менее, она обязывает философа как-то осмысливать все это.

Возвращение в Мелитополь. Об отце на войне

С.П.: Давид Израилевич, а домой-то Вы куда возвращались на крыше вагона? Где дом был на тот момент?

Д.Д.: В Мелитополе. Отец мой прошел всю войну...

С.П.: А вы знали о судьбе ваших родных?

Д.Д.: Да, потом, когда я попал в армию, на санлечучку, то писал письма и получал письма на полевую почту.

С.П.: А когда уходили, родным не сообщали?

Д.Д.: Ну, мать мне пришлось обманывать. Я ей сказал, что еду к Лиде — она работала на заводе нашем Комсоргом ЦК ВЛКСМ и ее перевели на Украину. И она действительно твердо говорила: приеду и обязательно тебя заберу. Ее на Украине сильно повысили в должности. А когда она работала у нас, я был комсоргом цеха, а потом, уезжая, она рекомендовала меня на свое место. Три месяца я был исполняющим обязанности Комсорга ЦК ВЛКСМ на заводе № 45 НКТП (Наркомата танковой промышленности). Меня не утвердили по малолетству. А, может, и по другой причине.

С.П.: Это вы в четырнадцать лет таких высот достигли?

Д.Д.: Тогда это было понятно и не помню, чтобы кто-то ахал и сильно удивлялся. Ну да, был кабинет с телефоном и секретаршей, особый паёк и т.п. И я уже привык. Но все это меня тяготило. Не скрою, когда я узнал, что меня не утвердили, это обидело. Ведь комсомольская братва меня признала, мы дружно работали, и в райкоме считали, что я на месте. Но очень скоро обида сменилась радостью. Ведь это кресло меня держало. А теперь я свободен. Теперь моя мечта может осуществиться. И я удрал на фронт...

Приехал я домой в Мелитополь. Отец уже вернулся. Он тоже прошел войну, начиная с 41-го года. Он был вначале в госпитале парикмахером. Это хорошо, когда госпиталь стоит на месте, а когда отступают под бомбежками непрерывными, пробиваются из окружения с винтовкой и гранатами, теряют близких друзей... Он «хлебнул», как говорят, выше крыши и в 41-м году, и в 42-м. Ведь он был фактически простым солдатом (дослужился до ефрейтора).

Летом 42-го, когда немцы смяли наш фронт и двинулись к Сталинграду и Кавказу, начался настоящий «драп», госпиталь разбомбили. Все разбежались. Неизвестно — где начальство, где кто. Отца ранило во время бомбежки в ногу, и он еле-еле передвигался на костылях. Он остался на подводе с двумя ездowymi, груженной госпитальным бельем. Немцы наступали в сторону Дона. Там еще стояли какие-то части наши, но они постепенно отступали. Говорили, что оборона еще сохранилась и весь поток отступающих стремился к Дону.

И однажды ночью отец подслушал разговор двух украинцев-ездовых: куда мы, мол, драпаем и зачем, от немцев все равно не убежишь, лучше по домам. Короче, на следующее утро он проснулся в хате, где они ночевали, а их нет — уехали они. Бросили его. А до Дона оставалось еще километров двадцать. И он раненый, на костылях. Тогда уже знали: если еврей попадет в плен, то его расстреляют, и он любой ценой должен был добраться до Дона.

И он, значит, на костыли и по дороге. А по дороге всякие едут подводы, машины, он проситься взять его — никто берет. И вот он, преодолевая боль, шел полдня и всю ночь и дошел до станции Вешенская, до Дона,

там, где должен быть мост. И увидел ужасную картину — мост взорван, вдоль берега, куда не глянь — всякое, имущества, повозки какие-то раздолбанные. Бог знает что! А он плавать не умеет ко всему еще. Что делать? Он чувствует, что вот-вот немцы подойдут к реке, и он в полной растерянности. И в это время на берег двое всадников выскакивают наших: «Солдат! Что здесь делаешь? Документы!», — и видят, что он раненый, рядом костыли. А он говорит: «Я плавать не умею, хочу перебраться!» — «Эх ты, такой-сякой». Они ему вытянули из рухляди одну треть столба телеграфного и столкнули его в воду. Они плывут рядом с лошадьми, один держит за штырь столба, а отец за ними, обхватив столб руками... Вот так его спасли. А это были СМЕРШевцы, военная контрразведка. Когда они уже на тот берег переплыли, начали его документы проверять, допрашивать, а потом в госпиталь отправили. И он остался там при госпитале. Потом его перевели в госпиталь раненых в голову, и он брил окровавленные израненные головы, готовя раненых к операции. Это была для отца тяжелейшая работа, так как он не переносил вида открытых ран, крови и страданий раненных. Отец был членом партии. Он был человеком не особенно идейным, но вступил в партию в самое тяжелое время в августе 42-го под Сталинградом. Аполитичный, но вступил в партию в 42-м году, именно под Сталинградом, как раз в этом госпитале тяжело раненных в голову. И тут поступает приказ: «Коммунисты — на фронт!» Отец сразу приготовился. А ему комиссар и начальник госпиталя: «Не спеши, — говорят, — «ты нам очень нужен. Кто ж будет брить раненых? Готовить к операции? Ты ложись, мы сейчас тебя положим, как будто ты заболел, подлечить тебя якобы. А потом шум этот пройдет, мы тебя выпишем, и ты останешься снова у нас в госпитале». Отец говорит: «Нет, ни в коем случае», и ушел. Что означает приказ «Коммунисты на фронт»: попадает он в запасной полк, там формируются маршевые роты, и через два дня он уже не передовой. Попал отец в гвардейскую дивизию, командовал батальоном Герой советского союза (забыл фамилию его). Вот выстроили всех прибывших, старшина спрашивает: «Повара есть? Сапожники есть? Парикмахеры есть? Шаг вперед!». Отец думает: «Не признаюсь». Но потом не выдержал и признался все-таки. И вот попал он в обычный стрелковый взвод: марши, бои, окопы рыть надо. Как только пришли на указанное место и окопы вырыли, все отдыхают, а по цепи: «Дубровский! К командиру роты!». Отец берет инструменты и идет брить командира роты, политрука, командира взвода. Дошло до комбата. Он узнал, что есть парикмахер... А он был на половину осетин, забыл его фамилию, отчаянный был такой мужик — дикий матерщинник, комбат этот, Герой советского союза. Но отца он полюбил. А у него была очень жесткая борода, и отец его брил. Один раз комбат его спас. Батальон попал в окружение — во время нашего наступления, немцы окружили его, попытки вырваться ничего не дали — только потери большие были. Попытки деблокировать тоже ничего не дали. И вот стемнело, и он решил контратаковать немцев в ночном бою. Пробиться, любой ценой. Построили остатки батальона, вышел комбат: «Дубровский, шагом марш — охранять штаб!» и, значит, матом на старшину: «Убьют его — кто будет в батальоне культуру наводить?». И те, кто участвовал в этой контратаке, — половина из них полегла, многие знакомые отца. Прорваться не удалось. Комбат был ранен в руку, но не ушел, остался в строю. Но на утро подошли новые части и погнались немцев дальше.

С.П.: Это какой был участок фронта?

Д.Д.: Сейчас скажу, где-то на юге Украины, открытая, безлесная местность, как рассказывал отец, негде укрыться, шло медленное тяжелое наступление, каждый день надо окапываться. Все время в грязи с головы до ног. У отца появились проблемы с кожей, все тело зудело, он расчесывал его до крови. Особенно его донимали вши. Вот это неизбежная вещь для солдата в пехоте. Они появляются неизвестно откуда. Пережарили все, а через день они снова хозяйничают. Расчесы до крови на руках, на ногах стали хроническими. И он просил комбата, чтобы его направили в госпиталь. А комбат говорит: «Какой госпиталь? Нам воевать надо, а ты в госпиталь». Пару раз он бывал в медсанбате, там чем-то помажут, и все по-прежнему. Отец повторял свою просьбу, и однажды комбат рассердился, выругался, сдернул с себя гимнастерку: «Смотри», — говорит, а у него все тело в струпьях, кровоподтеках, кровяная экзема, страшная картина. —«Видишь. И я не лезу в госпиталь, как ты!». И кое-что еще добавил на своем привычном языке. После этого отец больше не заикался о госпитале, терпел.

Но отцу в который раз повезло. Это было незадолго до окончания войны, где-то в Бессарабии, на границе с Румынией. Батальон на отдыхе, они помылись там, поспали... Отец видит: госпиталь какой-то стоит

в их деревне — машины с красными крестами, думает, дай погляжу. Подошел к госпиталю. А на «Виллисе» прямо ему навстречу выезжает женщина — подполковник медицинской службы. Он смотрит, а это та женщина, которая была начальником госпиталя еще в Мелитополе, куда его определили после призыва в армию. В Мелитополе она до войны заведовала кожным отделением городской больницы. Он ее сразу узнал и кинулся к ней. Она его тоже узнала, конечно. Они расстались еще в октябре 41-го года, когда разбомбили госпиталь, и в панике повального отступления и окружений всех разбросало. Она ему очень обрадовалась. Ведь он был единственным из ее сослуживцев, которого она встретила за все годы войны. Отец сказал ей о своих болячках и о комбате. Она сразу поняла все и сказала: «Возьми любое направление на осмотр. Мне нужен парикмахер, я тебя оставлю. Только любое направление возьми!». Отец побежал к комбату: «Товарищ капитан, я встретил начальницу госпиталя, с которой начинал войну, она специалист по кожным болезням. У вас же экзема и у меня кожа болит. Выпишите направление на осмотр. Чтобы посмотрели нас. Поверьте, она хороший специалист, она может помочь вам!». И вот, после колебаний (а они стояли на отдыхе) комбат выписал направление себе и отцу на осмотр. Но когда начальница увидела его жуткую экзему, то приказала ему немедленно раздеться и облачиться в госпитальный халат. Тот отказался. Она позвонила командиру дивизии. А потом, как подполковник, приказала капитану: «Смирно! Немедленно снять обмундирование и одеть халат!» Его положили в госпиталь. И отца тоже. Капитан еще не раз бушевал — как это батальон свой оставить. Война кончалась, его отправили на лечение, признали тяжело больным. На прощание капитан сказал: «Ну и хитрюга ты, Дубровский! А может так и надо. Ну, не поминай лихом!». А отец остался в госпитале. Там последние месяцы на их направлении почти не было боев, они прошли Болгарию, дошли, кажется, до самой Австрии. Отец демобилизовался рано, в первую очередь, так как ему было уже за сорок, он приехал домой на месяц раньше меня.

С.П.: А матушка как Ваша, с двумя детьми?

Д.Д.: А мать с двумя детьми уже вернулась в Мелитополь, потому что нужно было скорее домой. Дом наш остался целый. А у родственников — братьев отца — все разбомбили, и жилья у них не было. Поэтому у нас жили три семьи. Комната была одна — вот как половина этой и еще одна маленькая комнатка. Вот там и жило десять человек. Потом отец приехал, я приехал. Ну вот, хватит, наверное. Я уже вас утомил... Но, понимаете, война — это для меня святое дело, и я говорил, что почти специалист в этой области, потому что очень многие годы занимаюсь изучением этих вопросов. Тогда я был мальчишкой и почти ничего не понимал. Что солдат может видеть на войне? То, что происходит в его роте, в батальоне и рядом. Не более. Я, конечно, очень мало видел и понимал. А вот потом, когда многое прочитал, многое передумал...

Учеба после войны

С.П.: Давид Израилевич, говоря о войне, вы коснулись темы сталинских репрессий, и я не могу не спросить, как эти события затронули вашу семью, и затронули ли вообще?

Д.Д.: У нас в семье никаких потерь не было, хотя в Мелитополе, конечно, репрессировали и расстреливали многих. Об этом мне рассказывал мой отец. Но родственники наши были простые мастеровые люди. Братья отца: один был пекарем, другой — мастером-шапочником, третий — мастер мехового дела, шил шубы и шапки, отец был простым парикмахером. Поэтому, возможно, репрессии и обошли нас стороной. 1937 год у меня в памяти остался в связи с другим событием — в этом году мать купила мне сочинения Пушкина. Это был большой том с иллюстрациями, изданный к столетию со дня его смерти. У меня сохранилось яркое воспоминание, как я сижу у печки зимой, читаю поэму «Руслан и Людмила» и воспаряю в эти выси. Поэзия — Пушкин, Лермонтов — сыграла большую роль в моей жизни, сильно повлияла на меня.

С.П.: А сколько классов школы вы успели до войны закончить?

Д.Д.: Пять классов. А потом начал было учиться уже в эвакуации, пошел в шестой класс, но и месяца,

наверное, не проучился. Надо было работать, какая тут учёба? А после войны я, работая на заводе, пошел сразу в седьмой класс вечерней школы рабочей молодежи. Потом сэкономил много времени, поступив на подготовительные курсы Мелитопольского института инженеров-механиков сельского хозяйства. Туда принимали только после восьмого класса, но поскольку я был участником войны, а директором был знакомый моего отца, то меня приняли после седьмого. И за год я прошел программу восьмого, девятого, десятого классов.

С.П.: Вам было восемнадцать — девятнадцать лет, да?

Д.Д.: Мне было тогда, это 1946 год, семнадцать лет. Поэтому я сэкономил три года практически.

С.П.: Все наверстали!

Д.Д.: Почти все. Но поскольку я не хотел в этот институт поступать, я ушел под конец с этих подготовительных курсов и при вечерней школе сдал экзамены экстерном на аттестат зрелости. Благодаря этому я мог поступать, куда хотел. А у меня была мечта поступить на филологический факультет Киевского университета.

С.П.: А как эта мечта возникла?

Д.Д.: Любовь к литературе, к поэзии. Я писал стихи, даже рассказы. Меня очень влекло к этому. Я обязательно хотел поступить на филологический факультет. В Мелитополе был Пединститут, но без такого факультета. А куда поступать? В Киев. На философский же факультет я поступил случайно. Когда я приехал в Киев поступать в университет, то оказалось, что там очень большой конкурс на филологический факультет. Хотя у участников войны были льготы, но нужно было сдать экзамены и тогда только тебя примут. Но дело даже не в сложностях поступления. Я вдруг узнал, что там есть философский факультет, я раньше даже не знал, что такое философия, что такое философский факультет (*смеется*). Там, с одной стороны, был гораздо меньший конкурс. Но, с другой, и это важнее, охватило ощущение, что философия — это что-то такое возвышенное, что-то необыкновенное. И вдруг меня черт дернул, даже не пойму как это вышло, я резко переменял решение и подал документы на философский факультет. Ну, экзамены, сочинение я писал всегда на «отлично». Но вот иностранный язык! У меня было убеждение, что теперь, после победы над Германией, немецкий язык не актуален. Я немного знал немецкий, потому что изучал его в пятом классе, а главное был ведь в Германии, общался с немцами. Я решил, что сейчас актуален английский язык и пытался его изучать, но что можно за год изучить. Я хорошо сдал экзамены по русскому, истории, еще были какие-то предметы, а вот на экзамене по английскому языку отвечал плохо, можно сказать, провалился. Но женщина, принимавшая экзамен, увидела, что я участник войны, и поставила мне «тройку», спасла меня... Знаете, мне как-то везло: на жизненном пути встречалось много хороших людей, и в каких-то ситуациях они очень помогали. И это тоже сыграло важную роль — вера в людей, в дружбу, в хорошие человеческие взаимоотношения.

Итак, поступил я на философский факультет. Это оказалось, конечно, ужасным, в том плане, что в те годы вся философия была сведена к изучению трудов товарища Сталина и товарища Ленина, таково было главное содержание обучения. И сам факультет был, конечно, идеологический: я застал все эти погромы, борьбу с космополитами, борьбу за «идейную чистоту» науки, против генетики и всех прочих так называемых лженаук.

” Киевская официальная общественность и особенно ее гуманитарная часть отличались кондовым национализмом и кондовой партийностью.

Я был свидетелем того, как очень хороших людей изгоняли и клеймили. И вообще, это ведь были 1947-й, 1948-ой, 1949-ой, 1950-ый, 1951-ый, 1952-й годы — период, когда я учился в университете — тяжелые времена. Постоянная идеологическая трескотня, доносы, аресты, собрания, бдительное око КГБ.

Все должны доказывать, что они верные приверженцы партии, коммунистической идеологии, великого гения и отца народов товарища Сталина и так далее. Очень много было лицемерия. И после войны, после фронта это воспринималось очень тяжело. Ну и плюс ко всему еще я был «инвалидом пятой группы». Речь, как вы понимаете, идет о пятом пункте анкеты, о национальности.

Работа после университета

С.П.: Так, а как вы поступили-то вообще?

Д.Д.: Я поступил как участник войны. Но потом я всегда был человеком «второго сорта», а после окончания университета мне все пути в науку были закрыты. Не говоря уже об аспирантуре. Многие получили назначение в институты, многих взяли преподавателями в партийные школы, на партийную работу, окончивших факультет даже брали в КГБ. Так вот для меня все такие пути были перекрыты. Но мне все же досталось сравнительно неплохое назначение — опять-таки, наверное, благодаря тому, я был участником войны — в школу, в Донецк. Тогда ввели логику и психологию в девятом и десятом классах. И я, получив назначение в школу, с удовольствием преподавал логику и психологию, но только два года. А потом эти предметы отменили, и я преподавал в школе слесарное дело, вернулся, так сказать, к своим пролетарским истокам. Но это были лучшие годы моей жизни.

” В школе мы создали замечательную мастерскую; благодаря родителям достали станки, инструменты — все на высоком уровне. И эти пятиклассники, им было интересно. Представьте, когда они своими руками делали болт и гайку и накручивали ее, они чувствовали особенное уважение к самим себе.

Но мы делали разные интересные вещи, в том числе сложные приспособления для физического кабинета. И у меня был большой авторитет среди ребят. Пожалуй, никогда не было такого авторитета, как тогда.

С.П.: И сколько лет вы преподавали слесарное дело?

Д.Д.: Три года. Помимо слесарного дела, мне дали еще три часа астрономии. Был телескоп системы Максудова, мы установили его на крыше школы, наблюдали спутники Юпитера и многое другое. Потом, в 1957 году — пять лет прошло — во всех институтах ввели философию. До этого я пытался пробиться в пединститут преподавать логику, но меня не брали. Были указания сверху, закрывавшие для меня эту дорогу. В 1954 году я решил поступить в аспирантуру Института философии. Думал, в Киеве все закрыто, мне прямо об этом говорили, а в Москве больше справедливости. Я весь год готовился. На первом же экзамене — по диалектическому материализму — меня откровенно и долго пытались «завалить». Несмотря на то, что я ответил на все вопросы, поставили четверку. А на экзамене по историческому материализму без церемоний после трехминутного разговора поставили тройку. Так закончилась первая попытка поступить в наш Институт. Мечта моя исполнилась через тридцать три года.

В Донецке обитало еще несколько человек, окончивших философский факультет, но потом они все постепенно разъехались, и я остался единственным дипломированным специалистом по философии в Донецке. Так сложились обстоятельства, что меня взяли-таки преподавателем в Донецкий медицинский институт. Непросто это было — только обком партии мог утвердить на такую должность, иначе нельзя было поступить в институт преподавателем философии. Но все пять лет после окончания университета я занимался философией, даже по поручению райкома партии читал лекции по философии. Ездил с лекциями по районам Донецкой области, писал статьи в газету на философские темы. Раньше часто были такие публикации — ведь все изучали марксизм — и в областной газете была рубрика такая, раз в две-три недели печаталась большая статья на философскую тему. Несколько моих статей

напечатали, а одну статью похвалили в газете «Правда», похвалили редактора газеты и обком партии.

С.П.: И что это была за статья?

Д.Д.: Статья была, стыдно теперь даже сказать, связана с работой Сталина «Об экономических проблемах социализма». И, сам уже точно не помню детали, но в статье рассматривались проблемы сознания, возвышение сознания людей в связи с общественным развитием, то есть была она больше по проблематике исторического материализма. Там ничего особенного не было, но ее вдруг заметили в обзоре «Правды» и расхвалили. После этого мне предложили работу в газете, квартиру обещали дать, что было немаловажно — проблема жилища тогда была очень сложной в Донецке, я ютился в разных местах, снимал углы. Но не пошел в газету. Понял: если я туда пойду, то с философией будет покончено. А я занимался философскими проблемами изучения сознания и мозга, читал очень много, думал и собирался написать диссертацию.

Упомянутую статью мою рецензировал секретарь горкома партии — тогда статьи для газет строго рецензировали — и он дал добро на ее публикацию. Потом он ушел в Академию общественных наук при ЦК КПСС, защитил там диссертацию по философии, вернулся и стал секретарем обкома партии. Ко всему еще его жена работала в нашей школе, и дети его у меня учились — ещё тогда, когда я преподавал логику и психологию. То есть он был обо мне наслышан, по крайней мере. И когда ввели философию в Медицинском институте, то возникла моя кандидатура, и секретарь обкома ее поддержал. Я был единственным дипломированным философ в городе, к тому же с несколькими публикациями. Более того, в числе этих публикаций была публикация в «Вопросах философии». В 1957 году там вышла моя статья «Об определении категории случайности» — анализ логических связей категорий общего, необходимого, единичного и случайного. Эта проблематика тоже была в чем-то навеяна войной. Надо сказать, что я писал и вообще занимался философией в полном одиночестве, не было людей, которые могли бы мне что-то посоветовать или подсказать. Сыграло положительную роль, конечно, то, что я два года преподавал психологию в школе. Короче, меня интересовала проблема случайности, я написал эту статью и посылал ее в разные места, но в Киеве и везде — отказ. Тогда я набрался наглости и послал эту статью, без всякой надежды, в «Вопросы философии». Прошло месяца два и вдруг — тогда я только что получил маленькую комнатку, первую свою жилплощадь — открываю почту и нахожу письмо с адресом отправителя «Вопросы философии». Дрожащими руками вскрываю конверт и читаю: «Уважаемый товарищ Дубровский. Вашу статью мы обсудили на редколлегии и приняли ее к публикации. Она будет опубликована в номере три за 1957 год»... Третий номер — тогда «Вопросы философии» выходили только шесть раз в год. И подпись: «С уважением зав. отделом Гургенидзе». «Над чем вы работаете, каковы ваши творческие планы. Что бы вы хотели еще написать для нашего журнала?» — читал я в письме Гургенидзе, который сыграл в моей жизни очень большую роль. Я был открыт! Такой подарок судьбы. Статья вышла. Обком дал санкцию на работу преподавателем философии в Донецком медицинском институте.

Но тут, как говорится, на ровном месте — опять «удар судьбы». Решили меня по конкурсу проводить, с санкции обкома. И вот заседает Ученый совет института, сидят все эти мэтры, профессура. Ученый секретарь зачитывает мои данные, рекомендацию, печатные работы и под конец: работает в настоящее время в школе такой-то, преподавателем слесарного дела. Они прослушали, что я окончил философский факультет, что у меня есть публикации, а вот слесарное дело услышали. Слесарное дело, а будет работать на кафедре философии. И большинство дружно вычеркнуло меня. Не прошел по конкурсу. Ректор говорит: «Я ничего не могу сделать теперь. Конечно, глупо, что поставили вас на конкурс. Мне надо было просто зачислить вас и все. Есть санкция обкома. А сейчас я ничего не могу сделать». И вот с этим я уехал на лето, с таким разочарованием: мечта моя работать по специальности, и вроде все препятствия позади остались... Вроде бы...

С.П.: На лето вы домой поехали?

Д.Д.: Ну, конечно, домой, в Мелитополь. Вернулся в середине августа. Но работать-то некому, а надо читать курс по философии. Пошел заведующий кафедрой марксизма-ленинизма в обком. Они говорят:

«Решим этот вопрос». И действительно, позвонил секретарь обкома ректору и меня зачислили исполняющим обязанности преподавателя философии. Так я попал в институт в 1957 году. И потом, через год примерно я стал старшим преподавателем, редактором многотиражной газеты... Тринадцать лет я проработал в этом институте. Защитил диссертацию в 1962 году, диссертация моя называлась так — «Об аналитико-синтетическом характере отражательной деятельности мозга». Я сам придумал эту тему. Соотношение категорий анализа и синтеза в нейрофизиологии, психологии и в логике. Нормальная диссертация. Правда, по тем временам непривычная для философов. Поэтому встал вопрос, как и где ее защищать?

Профессора Донецкого мединститута. Семинар по философским проблемам диагностики

И тут надо рассказать еще о том, что, работая в мединституте, я понемногу изучал медицину. Меня назначили руководителем кружка по изучению философии для профессоров-клиницистов, которые меня провалили на Ученом совете. А что это была за профессура? Вы, наверное, слышали о «деле врачей» — «врагов народа», «убийц в белых халатах». Тогда почти всех крупнейших евреев-медиков повыгоняли из Москвы, из Киева и из Харькова. А наш ректор, профессор Ганичкин Андрей Михайлович очень умный был человек, у него первый секретарь обкома был друг-приятель. Он многих этих мэтров собрал, дал им квартиры, и в Донецком мединституте появилась плеяда выдающихся профессоров: Воронов, Губергриц, Франкфурт. Они все были авторами учебников для медицинских институтов, врачами высшего класса. Они видели в больном личность — умели постигнуть его индивидуальные особенности, так беседовали с больным, что от самой беседы ему становилось легче. Выслушивали его, кстати, не трубкой, а ухом. Это были выдающиеся клиницисты. Они, конечно, крайне скептически относились к марксистской философии, но были обязаны изучать ее. И вот им присылают мальчишку, бывшего преподавателя слесарного дела, в качестве наставника по изучению философии. Они смотрели вначале на меня с плохо скрываемым презрением. Но я их всё же обыграл. Тогда у нас только начиналась разработка философских проблем медицины, и я придумал название нашего семинара — «Философские проблемы диагностики: анализ клинического мышления». Вначале они были удивлены. Неужели в марксистской философии может быть что-то реальное и интересное? Но прошло два-три занятия, и они вошли во вкус, начали горячо спорить друг с другом, я подливал масла в огонь. В итоге они устраивали интересные обсуждения столь близких им вопросов, а я обращал их внимание на методологические аспекты самого клинического мышления. Они посещали эти философские семинары с большим интересом. А я учился у них. Мы потом стали друзьями. Это были очень разные по своей внешности и по характеру личности. Вот — профессор Александр Яковлевич Губергриц — рафинированный интеллигент, всегда строго, но со вкусом одет, при галстук в белоснежной рубашке, знаток литературы и живописи, прекрасная русская речь, логика, четкий анализ, аргументация. А профессор Абрам Соломонович Воронов — полная ему противоположность: небрежно одет, что-то от местечкового еврея по его манерам и репликам, голубоглазый, с остатками рыжеватых волос, речь его сбивчива, эмоциональна, с некой нотой превосходства. Но это был гениальный диагност! Как говорят, врач от бога. Губергриц и Воронов постоянно спорили друг с другом. Два вечных оппонента. Воронов кричал и жестикулировал, а Губергриц спокойно, логически четко отвечал и доказывал... Они меня приглашали на самые интересные клинические случаи. Вот, например, звонит мне однажды Воронов: «Вы можете приехать? У меня-таки есть кое-что вам показать». Я приезжаю к нему в клинику, он вызывает ассистента: «Ну, позови ее». Приводит женщину, она желтая вся — желтуха. «Ну, как Вы думаете, что у нее?». В таких случаях, как правило, бывает болезнь Боткина, еще несколько сравнительно редких заболеваний, которые легко исключаются, или часто — закупорка желчных протоков при опухоли. Женщина эта попала в больницу, ее тщательно обследовали, остается только одно — закупорка желчных протоков. Есть такие небольшие опухоли, которые рентгенологически не выявляются, не видны. А у нее месяц субфебрильная температура, плохое самочувствие, она вся желтая. Нужна срочная операция. Ее чуть ли не положили уже на стол. Но муж не дал делать ей операцию. В итоге она попала к Воронову. И он в течение получаса поставил ей диагноз. Оказывается, она была за полтора месяц до этого у своей родственницы в деревне

и поела там с удовольствием тыквенную кашу, а у нее такая биохимия, что из организма не выводится характерный для тыквы желтый пигмент, он циркулирует в крови, инородное тело, создает субфебрильную температуру. И Воронов ее вылечил за два или три дня. Вот пример выдающейся диагностики: как же он докопался до этого, нашел причину редчайшего заболевания? А ведь он спас ее от операции. Вот это был Воронов!

Такие интересные клинические случаи встречались не столь уж редко, и это для меня была замечательная школа. Был у меня в семинаре профессор Матяшин, хирург. Помню одну из операций, на которые он меня приглашал.

” Девушка, работавшая на шахте, выпила случайно вместо воды каустическую соду, у нее в результате воспалительных процессов слипся пищевод. И профессор Матяшин со своим ассистентом сделал ей новый пищевод из части ее тонкого кишечника. Шесть часов шла эта операция. Колоссальная работа!

С.П.: Это где-то 1960-е годы, да?

Д.Д.: Да, это начало 1960-х. Колоссальный, творческий труд! Мне немоготу уже было сидеть и смотреть на все это, а они стояли за операционным столом, не отрываясь, 6 часов. И спасли эту девочку. Потом месяца чрез два она приезжала, такая розовощекая, веселая. Вот работа врача! Но что интересно, медицина того времени была не столь инструментальна, как сейчас. Конечно, использовали и результаты различных анализов, и все остальное, но главное было внимание к данному больному, постижение его индивидуальных особенностей. Я одиннадцать лет вел этот семинар, бывал на десятках консилиумов. И психиатрией занимался. Отсюда источники моих научных интересов.

С.П.: По специальности, по направлениям медицины кто там был из специалистов?

Д.Д.: Там были терапевты Воронов, Губергриц, Франкфурт, Кац, хирурги Матяшин, Овнатанян, психиатр Сливко, очень крупные фигуры, и еще несколько доцентов было. За одиннадцать лет сотрудничества с ними я конечно у них многому научился. Но я тоже старался придумывать что-то новое, интересное для них. Это касалось различных аспектов проблематики чувственного познания, интуиции, гипотезы, анализа фактов и теоретических предпосылок, вероятности и обоснованности диагноза, методов мышления.

С.П.: Вы этот опыт обобщили в диссертации?

Д.Д.: Ну, диссертация моя была несколько другого плана, но знания медицины были очень важны для понимания нейрофизиологии, психофизиологии. В кандидатской диссертации в основном анализировались данные нейрофизиологии. А уже в докторской весь спектр медицины был в той или иной мере представлен. Это психосоматическая проблема, роль психики в регуляции всех жизненных процессов, вопросы психиатрии. Одной из задач, которую ставили эти профессора, было поддержание веры больного в себя. Были многие интереснейшие случаи, казуистические в том числе. Однажды профессор Матяшин мне звонит: «Зайдите на минутку, есть у Вас время? Интересный вопрос». Я прихожу к нему, он вызывает человека: «Вот видите, он болел раком желудка, сейчас он практически здоров». А дело было так. Примерно девять месяцев тому назад он поступил в клинику с диагнозом рака желудка, его вскрыли и увидели большое количество метастазов — и в печени, и в других органах. Это терминальное состояние, все зашили обратно и выписали его. И вот через девять месяцев он приезжает на консультацию здоровый — нет опухоли. При таких метастазах человек сам выздоровел. Как? Почему? Интересно, да? Ответа пока нет. Есть, конечно, абстрактные ответы-предположения: открылся новый ресурс какой-то в организме, возник какой-то мощный фактор, который как-то переломил безнадежную ситуацию. Что-то не совсем такое, но подобное, я не раз видел и даже переживал сам. В первой беседе я приводил пример с лежанием в начале марта в болоте. По всем показателям, если

положить человека в болото при такой температуре даже на полчаса, то он, по меньшей мере, заболит, если не умрет от переохлаждения.

У меня есть «коллекция» военных фактов. Известно, что защитники Брестской крепости в одном месте больше месяца без пищи и воды продолжали обороняться, и немцы не могли их взять. Это противоречит всем известным нам медицинским канонам. Потом, когда последние бойцы лежали уже совершенно обессиленные, немцы их взяли в плен. Ряд источников сообщают, что немецкий генерал выстроил перед ними своих солдат и сказал: «Вот, берите пример, как нужно выполнять свой воинский долг!». И есть еще много других фактов, когда в крайних экстремальных ситуациях человек боролся, оставался жив. И в этом главную роль играла воля, вера, сила духа. Факты! Вот, пожалуйста, предмет для размышлений.

Защита кандидатской диссертации

Насчет защиты диссертации, я доскажу, это тоже интересно. Как и где защищать диссертацию? Я поехал в Киев, на философский факультет обсуждать ее. В результате ни одного доброго слова, сплошная критика. Это же не философия. Никакой тут нет философии. Сплошная физиология. И меня отфутболили. Я пытался обратиться в другое место, ходил туда-сюда, но с тем же результатом: защищайтесь по физиологии. Потом кто-то из друзей мне говорит: «Слушай, подойди к какому-нибудь крупному физиологу, чтобы он почитал: нужно это все, имеет смысл или нет». И я пошел в Институт физиологии Украинской академии наук с диссертацией и авторефератом. Дело было в начале лета. Захожу. Пусто, никого нет. На двери табличка «Директор Института» — зашел туда, большая комната, нет секретарши. Передо мной вторая дверь, оббитая черным дерматином, полуоткрыта. Заглядываю туда. Большой кабинет, сидит за столом мужичок такой лысый, деревенского вида. Стоя у двери, я говорю: «Вот я хотел бы...». — «Заходи, заходи, чего тебе надо». Я рассказываю, что у меня диссертация, полгода не могу прикрепиться для защиты, говорят это не философия, а физиология. Но это не физиология, это философские вопросы науки. «А как называется диссертация твоя?» — он ко мне на «ты». Я говорю, вот так-то называется. Вот у меня реферат есть. Он посмотрел, полистал, почитал отдельные места. Нажимает кнопку, заходит через какое-то время интеллигентного вида сравнительно молодой человек. Он говорит ему: «Коля, пришел человек с диссертацией, возьми прочитай, по-моему дельно». Это был директор Института физиологии, вице-президент Академии наук Украины Александр Федорович Макаренко. Через два дня Коля написал блестящий отзыв на мою работу, я пришел к Макаренко, который уже прочел отзыв...

С.П.: А кто такой Коля?

Д.Д.: А Коля — Николай Гóрбач — это старший научный сотрудник Института физиологии, широко образованный человек, интересующийся философскими вопросами науки, ему очень понравилась моя работа, мы с ним потом подружились, часто обсуждали научные и философские проблемы... И вот в присутствии Горбача Макаренко снимает трубку и говорит, как потом сказал мне Коля, ректору Киевского университета, своему приятелю: «Ну, чего же это ты маринуешь человека, он ходит, пороги обивает, фамилия Дубровский, а диссертация полезная у него. Я сам напишу отзыв». О чем-то другом еще долго говорили, не помню детали. Потом он позвонил еще на философский факультет, Коля мне говорил. У меня моментально взяли мою диссертацию, обсудили довольно быстро, уже через три месяца, в том же 1962 году, я защитил ее, с отзывом Александра Федоровича Макаренко. Вот такой деревенского вида мужичок, но крупный ученый, невзрачный на вид, грубоватый, и такой открытый, добрый, искренний. Потом я с ним поддерживал знакомство, был ему очень и очень благодарен. Если бы не он, долго бы еще пришлось обивать пороги, наверное, годы, и неизвестно, удалось бы пробить брешь в этой стене или нет. Через полгода примерно Александр Федорович приезжал в Донецк на конференцию физиологов, ко мне домой пришел в гости, мы с ним выпили прилично и отплясывали вместе с женой. Я его потом поздравлял регулярно с праздниками. Он умер давно уже. Замечательный человек. И таких на моем пути, как я уже говорил, было немало. Вот и Геннадий Гургенидзе, который статью мою опубликовал в «Вопросах философии», стал моим самым близким другом. И если будет время, я потом еще расскажу о других встречах с замечательными людьми, которые сыграли в моей жизни большую

роль.

Текст авторизован Д. И. Дубровским.